

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

ТАЙГА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью - Йорк

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ — ТАЙГА

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

ТАЙГА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

•

1952

**COPYRIGHT, 1952 BY
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.**

PRINTED IN THE U.S.A.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сергей Сергеевич Максимов родился на Волге в 1917 году в семье сельского учителя. В 1920 году вся семья переехала в Москву. По окончании средней школы, Сергей Максимов поступил в Литературный институт, но два года спустя был арестован НКВД и приговорен к 5 годам заключения в концентрационном лагере на Печоре. После окончания пятилетнего заключения он вернулся в центральную часть Советского Союза и поселился в маленьком городке, который во время войны был занят немцами в 1941 году. В следующем году Максимов был арестован немцами и после шести месяцев тюрьмы отправлен Гестапо на работы в Германию.

Максимов рано начал писать, сотрудничал в детских и юношеских журналах — в «Мурзилке» и в «Смене». После войны, находясь в лагере Ди-Пи в Германии, он написал свой первый роман «Денис Бушуев». Роман этот вышел по-немецки, по-русски и по-английски и встретил единодушный благоприятный отзыв критики.

«Тайга» — собрание рассказов о жизни в советских концентрационных лагерях. На фоне девственной тайги, Максимов мастерски зарисовал серию портретов жертв НКВД и самих мучителей. Жестокость и произвол — вот подлинные владыки необозримых просторов севера, в которых расположено так много концлагерей. Редки здесь улыбка и человеческое участие, но, когда на мгно-

вание вспыхивает улыбка, или протягивается рука помощи — это прорывается с такой непосредственностью, что вселяет и в читателя веру в то, что только доброму началу в человеке обеспечена конечная победа над злом.

Издательство имени Чехова.

Женé
Софье Максимовой
п о с в я щ а ю

ПРОХОЖАЯ

Пусть жизнь оборвется на живом звуке,
сразу, без стонов, без жалоб нищенских.

ЛЕСКОВ.

Ранней весной меня отправили по этапу с лагпункта Ропча на север, на реку Печору. В Усть-Кожве местное начальство определило меня в геологическую изыскательную партию в качестве лаборанта полевой лаборатории.

Принимая лабораторию и роюсь в «Журналах анализов», я нашел несколько листков из дневника вольнонаемного лаборанта Михайлова, моего предшественника, утонувшего в реке при спасении одного из рабочих — бурильщиков. Листки были датированы 2-м и 3-м февраля 1940 года. Начальник экспедиции мне рассказал, что незадолго до смерти Михайлов сжег какие-то бумаги, очевидно дневник. Я сначала подумал, что листки за 2-ое и 3-е февраля остались случайно, но потом решил, что Михайлов сохранил их намеренно: на уголке первого листка, карандашом, рукой покойного лаборанта было написано: «Сохранить обязательно»... Привожу эти два дня из дневника.

«2 февраля.

...Третий день метет пурга. Наши крошечные брезентовые палатки утонули в сугробах пышного снега. В одной палатке живет начальник геологической изыскательной партии инженер Петров, во второй устроена маленькая полевая лаборатория, в этой, второй, живут два коллектора и — я. В третьей — рабочие.

Вечер. Железная печка раскалена до-красна. Сосновые дрова звонко потрескивают, тускло блестят колбы и стеклянные цилиндры на моем столе. Слышно, как шуршит по брезенту сухой снег. Слабо горит семилинейная керосиновая лампа с разбитым стеклом. Это стекло разбил коллектор Головин в белой горячке.

Я один. Начальник партии, коллекторы и рабочие уехали третьего дня на гору Убысь бурить гравийные карьеры. Они должны были вернуться еще вчера, но очевидно, помешала пурга.

Возле палатки рабочих повар Иван, мордвин с Волги, колот дрова. При каждом ударе топора он кряхтел и смачно ругался.

Я вывернул побольше фитиль лампы, присел к раскаленной печке, скрестил на коленях руки и задумался. Тонко свистел ветер в сучьях деревьев над палатками. Забравшись в жестяную трубу, он пахнул из печки черным, смолистым дымом. Горсть снежинок, прорвавшись в отверстие между трубой и брезентом, серебристой пылью осыпала меня, зашипела на раскаленном железе трубы.

Откинув полог палатки, запушенный снегом, вошел с охапкой дров Иван, бросил их на землю, отряхнулся.

— Ну и погодушка, мать ее...

— Чай поставил? — осведомился я.

— Поставил. Скоро закипит, — лениво ответил он и вышел, но через секунду просунул голову и, испуганно посмотрев на меня, сообщил:

— Кричит кто-то в тайге...

Я поспешно вышел вслед за ним. Черной стеной стоял лес в белом кружеве снега. Меж быстро бегущих туч мелькал зеленый диск луны, безразлично и плавно ныряя в лохматых облаках. Крутила метель. Мы прислушались.

— И-и-и... а-а-а... — донесся откуда-то из тайги

неразборчивый крик. Кричала женщина и, повидимому, недалеко.

— А-а-а...

Я забежал в палатку, надел шапку и телогрейку, сунул за пояс маленький топорик. Иван выдернул из сугроба две пары лыж, бросил одну пару мне и, натягивая ремни лыж на валенки, прерывисто проговорил:

— Недалеко кричит... на реке.

Ее мы нашли в трехстах метрах от нашего бивака, на берегу Кожвы — маленького притока холодной Печоры. Она сидела на снегу, прислонясь спиной к стволу дерева. Голова закутана теплым платком. Из-под него странно блестели большие глаза с инеем на ресницах. Рядом валялся туго набитый дорожный мешок.

— Сбилась с пути... — проговорила она низким, чуть охрипшим голосом. — Вы кто?

— Геологи, изыскатели, — ответил я... — Вставайте, а то замерзнете.

Женщина поднялась.

— Лыжи я бросила... Такая метель. Далеко до вас?

— Нет, рядом. Пойдемте, обогреетесь. Вы откуда?

Она замялась, помолчала, потом тихо ответила:

— Из Усть-Ухты. Несу почту, да вот сбилась с дороги, чуть не замерзла... Без лыж трудно будет.

— Я вам свои дам, — предложил я. — Только сначала вам надо высушиться и переждать пургу.

Войдя в мою палатку, она бессильно опустилась на койку и протянула озябшие руки к печке.

— Помогите, пожалуйста, раздеться... у меня руки совсем окоченели.

Я развязал платок, снял с нее бушлат и стянул с маленьких босых ног промерзшие заскорузлые валенки. Она влезла с ногами на койку, обхватила колени руками и, положив на них подбородок, пристально посмотрела на огонь. Черные курчавые волосы беспорядочно рассыпались по плечам, оттеняя белый гладкий лоб. Яркие, чуть отвернутые губы чему-то улыбались, а над

темными большими глазами, на густых ресницах блестя не то капли растаявших снежинок, не то слезы. Короткие рукава шерстяной блузки обнажали красивые полные руки.

— Как ваше имя?

— Ирина. А ваше?

Я назвал себя и предложил ей выпить немного спирта.

— С удовольствием. Я так озябла.

Я налил в маленькую мензурку слабозразведенного спирта. Она выпила, закашлялась и замотала головой. Мы рассмеялись. •

— Крепко?

— Очень — ответила она, показывая в улыбке полоски белых, чистых зубов.

Недалеко от палатки, оглушительно захлопав крыльями, взлетела птица. Ирина испуганно вздрогнула и взглянула на меня.

— Что это?

— Глухарь взлетел.

— А страшно ночью в тайге. Если бы не вы, я бы замерзла...

Вошел Иван с кипящим чайником в руках. Прихлебывая кипяток, заваренный сухими листьями черной смородины, мы слушали шум метели и вели неторопливый разговор. Мало по малу развеселились. Иван пел смешные мордовские песни и, как говорится, «под шумок» выпил весь мой запас спирта. Добродушное, рябое лицо его залоснилось, как облитая яичным желтком, розовая булка. Под конец он совсем разошелся и стал показывать уморительные мордовские танцы, лавируя между койкой, столом и печкой. Мы забыли про пургу и на целый час ушли в какой-то новый для нас мир. Как немного надо человеку, чтобы быть почти счастливым!

Потом Иван ушел. Я решил предоставить свою палатку Ирине и переночевать в палатке рабочих. Как

всегда бывает у людей, надолго изолированных от внешнего мира, после бурных вспышек веселья наступает тяжелое похмелье. Минут десять после ухода Ивана мы сидели молча, опустив головы, погруженные каждый в свои мысли.

— Ну, а завтра что? — вдруг спросила она.

Я поднял голову, не поняв странного вопроса. Она провела рукой по волосам и сама ответила:

— А завтра я возьму рюкзак и пойду тайгой по морозу... навстречу... навстречу...

Она упала на мешок с сеном, заменявший мне подушку, и навзрыд заплакала.

— Что с вами? Ну, бросьте, бросьте...

Ее полные плечи вздрагивали от рыданий. Порыв ветра оторвал полог палатки, бросил ворох снега и заполоскал оторванный брезент. Я подошел и закрепил полог. Ирина привстала и взглянула на меня мокрыми от слез глазами.

— Ну, скажите, зачем вы нашли меня сегодня в тайге? Зачем вы спасли меня? Лучше бы я замерзла там... сразу бы к одному концу... Зачем вы спасли меня?

— Затем, что вы кричали, — стараясь сохранить спокойствие, ответил я и стал набивать трубку.

Она как-то по-детски улыбнулась и вытерла платком слезы.

— Верно, — сокрушенно вздохнула она, — кому же умирать хочется? И мне совсем не хочется умирать... совсем не хочется...

Она затихла и задумалась.

Я подошел к печке, протянул руки к раскаленной трубе и, не глядя на Ирину, негромко спросил:

— Скажите, зачем вы мне лжете?

Она даже не изменила позы, не взглянула на меня, будто ожидала этого вопроса. Подумав, спокойно ответила:

— Затем, что не могу сказать вам правду...

— Почему? Впрочем... простите... я не подумал, —

спохватился я, поняв, что мой вопрос неучтив, но почувствовал, что как-то объясниться надо, и добавил: — Видите ли, почему я спросил... Я жил в Москве. И детство, и сознательную большую часть жизни я провел там. Я инженер. Правда, предпочитаю работать простым лаборантом по некоторым причинам. По этим же причинам, о которых может быть позднее я скажу, предпочитаю глухую тайгу нашей столице. И вот, глядя на вас, я узнаю человека своего круга... Та же манера говорить, тот же московский акающий акцент, те же интеллигентские привычки. Я заметил, как быстрым и точным движением вы поправили волосы, я заметил, как вы держались за столом. Одним словом, вся ваша маскировка под таежную почтальоншу очень неопытна и неуклюжа. И, согласитесь, что совершенно естественно встал передо мною вопрос: кто же она, эта таежная почтальонша с московским акцентом? Простите меня за мою неучтивость, но...

— Вы не сделали ничего неучтливового, — перебила она меня, — тайга освобождает людей от многого, в том числе, очевидно, и от учтивости.

Я молчал.

— И еще: мужчины забывают, например, что на свете существуют бритвы...

— Это вы насчет моей бороды?

— Нет... вообще.

— Видите ли, борода меня защищает от мороза.

— И еще кое от чего...

Закинув руки за голову, она блеснула полосками зубов.

Я промолчал.

— Например, влюбиться в вас невозможно, — не унималась она.

«Дорого же мне обойдется мое любопытство» — подумал я и мысленно послал себя к чорту.

— Вы посмотрите на себя, на кого вы похожи! На лешего! Длинные волосы, рыжая борода...

— Не рыжая, а каштановая... — попробовал отшутиться я.

— Каштановая, каштановая... — передразнила она, — а я говорю рыжая, стало быть — рыжая! Ну-с, что вас еще интересует? Может быть, сказать сколько мне лет?

— Зачем? Не думаете ли вы, что я скоро начну бриться?

— Это вы мне в отместку за мое откровенное мнение о вашей внешности? Я считала вас остроумнее... Однако, кто же, все-таки, я? Как вы думаете?

— Я не буду отвечать. Вам это, видимо, неприятно, а я не хочу, чтобы вам было неприятно.

— Но я настаиваю и... прошу. Кто же я?

— Прохожая... — спокойно ответил я, раскуривая потухшую трубку.

— И только?

— И только. По крайней мере, для меня.

— Прохожая... — усмехнулась она, презрительно и с ненавистью глядя мне в глаза.

— Прохожая...

— ...которая не выдержала бы экзамена, если бы захотела стать актрисой, — добавил я.

Она вскочила, темные глаза ее заблестели злым огоньком затравленного зверька.

— Да! — крикнула она. — Я лгу! Слышите: я лгу! Я не почталъонша и никогда ею не была! Я такой же инженер, как и вы, с той только разницей, что я... что я... — она проглотила слова и снова повалилась на койку, глубоко дыша и нервно покусывая алую отвернутую губу.

— Впрочем, — добавила она через некоторое время, — вам нет ведь дела до того, какая между нами разница. Ведь я для вас только... прохожая.

Минут пять мы молчали. Я досадовал на себя. Мне было ее жалко. Я встал и решил идти к себе. Кстати,

и лампа начинала тухнуть — керосин выгорал. Но Ирина опередила меня:

— Я очень хочу спать.

— И хорошо сделаете, — сказал я. — Вот вам моя койка, вот одеяло, сверху накройте еще вашим бушлатом. За печкой я посижу. Спокойной ночи.

Я вышел. Всё так же крутила метель, раскачивая сухие ели и лиственницы. Луна скрылась, на реке отрывисто, надоедливо лаяла лисица. В палатке рабочих храпел Иван, несмотря на несусветный холод — печка потухла. Я раздул угли, подбросил дров и, когда они весело вспыхнули, достал книгу, уселся перед печкой и принялся читать. Прочитав страницы две и убедившись, что из чтения толку не будет, я отложил книгу и стал наблюдать, как корчится на огне береста. Лениво тянулись какие-то незначительные мысли: вспоминалось то одно, то другое. Сколько времени я сидел так и думал — не знаю. Кажется, я вздремнул и проснулся от холода. Печка совсем потухла.. Я вспомнил про гостью: наверное, и там давным-давно прогорели дрова.

Я вышел. Метель стихла, и на зеленовато-голубом небе, обсыпанном яркими звездами, повис стальной блин луны.

Осторожно откинув полог палатки, я вошел и присел на корточки перед потухшей печкой. Раздув огонь, я подкинул бересты. Она закорчилась, задымилась и вспыхнула жарким пламенем, потрескивая и освещая палатку. Я выпрямился и бросил взгляд на койку.

Ирина лежала на спине, укрытая одеялом, и нахмуренно, как-то чересчур напряженно смотрела на меня.

— Подойдите... — тихо сказала она.

Я подошел и сел к ней на койку. Она запустила пальцы в мою бороду и улыбнулась, просто и мягко, как улыбаются выздоравливающие:

— Какая смешная кудрявая борода. Сколько ей?

— Год.

— А вам? — спросила она, опуская руку и неторопливо застегивая пуговицу на груди моей гимнастёрки.

— Тридцать.

— У вас есть жена?

— Нет. Я любил одну девушку, она была моей невестой, но потом... вышла замуж за моего приятеля.

— Ну и дура! — рассмеялась она. — Ведь вы, в общем, славный...

Я почувствовал легкий холодок где-то под сердцем и невольно подвинулся ближе к ней, но она отстранила меня.

— Послушайте, — как-то задумчиво сказала она. — Вы наверное задумывались над тем, что составляет радость жизни человека? Как по-вашему, что?

— Не знаю, — замялся я. — Очевидно целый комплекс причин: любимая работа, семья, любовь...

— Нет, — вздохнула она, перебивая меня, — все это не то. Знаете, что главное?

— Ну-ка?

Она подперла рукой курчавую голову и, чуть прищурившись, коротко сказала:

— Свобода!

Опять тоскливо залаяла в тайге лисица. Береста прогорала, в палатке стало темнее и, как волны, заходили по брезенту странные красноватые отблески.

— Ах, как она нужна вашей... прохожей, — нахмурив брови, тихо проговорила Ирина и вдруг, скрипнув зубами, стремительно схватила меня за плечи. Я наклонился и крепко поцеловал её в теплые губы, чувствуя, как ускоряется стук моего сердца.

3 февраля.

Не знаю, вернусь ли я когда-либо снова к дневнику. Думаю, что нет. Бессмысленно писать, незачем, не надо ничего записывать больше... Я познал весь кош-

мар, который окружает нас, как покойника саван. Я познал цену свободы.

Вчерашнюю запись в дневнике я сделал в четыре часа ночи, когда взволнованный, опустошенный, с радостным, но беспокойным сердцем я оставил Ирину и вернулся к себе. Я не подозревал, что через 2-3 часа я постигну страшную правду.

Вот моя последняя запись, без рассуждений, без комментариев.

...Помню, что я уснул, тесно прижавшись к теплому телу Ирины. Было уютно, было детски-радостно и хорошо. Мне что-то снилось, тоже что-то светлое и хорошее.

Проснувшись же, я ощутил прежде всего пустоту. Было темно. Я пошарил рукой и понял — со мной никого не было. Я вздрогнул: где же она?

А на реке всё плакала, всё заливалась лисица.

— Как она противно кричит...

При первых же звуках знакомого голоса я был уже возле нее.

— Почему ты не спишь?

Она сидела в углу, у печки, в своей любимой позе — обняв колени и положив на них подбородок. Я кутал её в бушлат, целовал ее волосы, лоб, глаза...

— Ты плакала?..

Она прижалась ко мне щекой и тихо сказала:

— Знаешь, мне так хорошо...

И помолчав, добавила:

— Я хочу тебе рассказать, о том, что чувствует человек перед смертью...

— Ах, оставь... — поморщился я. — В самом деле, это уже слишком. Лучше расскажи о себе, ведь я ничего о тебе не знаю.

— Завтра. Обещаю. А перед смертью человек чувствует лишь сладкое замирание сердца перед великой тайной. И больше ничего. И — холод. Давай раздуем угли.

Я в одну минуту растопил печку. От тепла ли, от света ли — на душе повеселело. Ирина встала, потянулась и как-то буднично предложила:

— Будем-ка мы снова спать...

Но вдруг испуганно взглянула на меня и схватила за руку.

— Слышишь? Что это?

Я насторожился, но ничего не услышал.

— Слышишь?

— Нет.

Она растерянно улыбнулась:

— Это мне показалось. Я такая нынче пугливая...
Когда ваши вернутся?

— Возможно, завтра.

— Утром?

— Вряд ли они ночью будут передвигаться. Впрочем, начальник странный, от него можно всего ожидать. А ты почему спрашиваешь?

— Я думаю, что тебе надо спать в другой палатке, — опустив глаза, сообщила она.

— Что? — удивился я, но тут же спохватился.
— Прости, пожалуйста, я не сразу понял — почему.

— Иди... — приказала она.

Я обнял и поцеловал ее так, как целуют близкого, когда растаются на несколько часов — быстро и не крепко.

Я ушел и сел за дневник. Была глухая ночь. Окончив писать, вернее, еще не окончив, я, утомленный, положил голову на руки и, улыбаясь своему счастью, стал припоминать шаг за шагом все события. Потом всё смешалось. С трудом разлепив тяжелые ресницы, я поднял голову и осмотрелся. В палатке было мутно от предрассветных сумерек. За брезентом слышались негромкие голоса и поскуливание собак: «Наши вернулись» — подумал я и, рывком откинув полог, вышел. Шагах в тридцати от бивака я увидел подходивших на лыжах четырех мужчин, одетых в форму,

с винтовками в руках. На привязях рвались собаки. И в ту же секунду совсем рядом, почти над ухом, оглушительно хлопнул выстрел.

Еще не отдавая себе отчета в том, что случилось, но повинаясь инстинкту, я кинулся к палатке Ирины, заметив при этом боковым взглядом, что все четверо пришельцев, как по команде, упали в снег. Вбежав в палатку, я ничего сначала не мог разобрать — плавал белесый горьковатый туман. В гулкой тишине слышалось бульканье воды выливавшейся, очевидно, из опрокинутой на столе колбы.

Прислонясь спиной к надетому на плечи дорожному мешку, Ирина полусидела на койке, как-то страшно и неестественно свесив на грудь голову. Черные волосы, разметавшись, свисали, закрывая лицо. Под растегнутым ватным бушлатом голубела знакомая мне шерстяная блузка, покрытая странными темными пятнами. Маленькая рука с полусжатыми пальцами далеко откинута в сторону. Одна нога была обута в валенок. Другой валенок валялся на земле рядом с согнутой в колене и низко опущенной правой голой ногой; матово-белая, она жалко и беспомощно выделялась на черном фоне одеяла. Большой палец ступни был засунут в спусковую скобу моего охотничьего ружья, упавшего дулом на край лабораторного стола.

С остановившимся дыханием, я осторожно раздвинул на ее лбу пряди курчавых волос.

Лица не было. Было что-то бесформенное и жуткое.

Я помню, как я взял со стола лист бумаги, на котором карандашом что-то было написано, прижал этот хрупкий лист к губам и поцеловал буквы — следы ее жизни. Как сквозь сон я слышал, что вошли люди, слышал перепуганный голос Ивана и другой, низкий, спокойный, отвечающий Ивану:

— Бежала из места заключения... политическая...

На этом дневник Михайлова обрывался. К последней странице была приколата бумажка. Сверху типографскими буквами напечатано «Анализ грунта № 1937», а ниже — карандашом, ровным женским почерком, с правильно расставленными знаками препинания, было написано:

«Милый, у меня есть только полминуты времени. Собаки и конвой совсем рядом. Самое главное в жизни — свобода».

Долго хранилась у меня эта бумажка. Иногда я ее доставал, перечитывал, и никаких чувств она у меня не вызывала. А скоро и совсем забыл и про Ирину, и про Михайлова, и про записку.

Жизнь в тайге протекала бесцветно и скучно. Зимой, по ночам, под шум белых метелей, мы играли в карты, пили спирт. Хором, осипшими от мороза головами пели свою любимую таёжную песню:

«Есть на севере дальнем могила,
Месяц клонит над нею рога.
Там позёмка летит легкокрыло,
И скрипит на морозе тайга».

Холодно. Ах, как холодно на этой земле!..

П И А Н И С Т

В этот день было особенно жарко. Над взрытым бурым суглинком качались еле видимые волны зноя. Комары тучами плясали над нашими головами.

Я — сваебой. Деревянный, наспех сколоченный из сырого леса копер стоит на дне глубокого оврага, на берегу маленькой, холодной и быстрой речки Вулы-Сю-Иоль. С утра по позднего вечера мы, девять оборванных, голодных заключенных, налегая грудью на жерди ворота, ходим по кругу, поднимая вверх тяжелую, чугунную бабу.

Копер скрипит, стальной трос натягивается как струна и, когда чугунная баба с грохотом ударяется о сваю, мы утираем пот с лица и стараемся всеми способами замедлить новое поднятие чугунного бездушного изверга, выматывающего из нас последние силы.

Десятник, маленький рябой мужиченко, сидит в стороне на бревнышке и, показывая сосновым «метром» на солнышко, то и дело напоминает:

— Давайте, ребятки, давайте... Чтобы нам полнормы еще до обеда схватить.

— Даем, даем, голубчик, — в тон ему отвечает мой сосед по рычагу, старичек Ефимыч, сгорбленный, чахоточный, часто и густо кашляющий, налегая сухим плечом, — ибо грудь у него болит, — на затертый до глянца березовый рычаг. — Всё что можем — даем, десятничек. Может, и житуху-то тебе скоро отдадим.

Десятник Голубев щурит на него острые глазки и неторопливо говорит:

— Ты, Ефимыч, больно разговорчив стал. Мне твоя жись не надобна. Я, брат, сам заключенный.

— Так какого же лешего ты подгоняешь — озлобленно говорит Митька-Пан, старый вор-рецидивист, поворачивая к нему бледное лицо. Совести у тебя нет, у чорта рябого.

Голубев тихо смеется.

— Ты, Пан, за что сидишь? — спрашивает он и тут же сам отвечает: — за воровство! А я? Убил? Ограбил? Против советской власти шел, как вон Ефимыч, Сережка или Всеволод? Нет, я преступлений не делал. Коли хочешь знать, я счетоводом в колхозе был, ну и запутали меня... Кто-то из колхозного амбара пять возов ржи свез, а я — в ответе.

— Врешь ты, сука, — сплевывая, возражает Митька-Пан, — сам спер наверно, а на других сваливаешь.

Митька-Пан — единственный из нас, кто не боится десятника. И он же единственный, на кого не жалуется начальству десятник, ибо боится Митьки. Зная это, Митька часто бросает работу и заваливается спать на солнышке тут же возле копра. Голубев ходит вокруг него и кричит, что загонит его в изолятор. Митька, закрыв глаза, блаженно улыбается и равнодушно обещает:

— Я те, рябой чорт, сейчас все ребра повыламываю... Отойди и не мешай спать.

Больше всего я дружу с Всеволодом Федоровичем. Он по профессии пианист. Еще до заключения я бывал на его концертах в Москве, в консерватории. Но тогда мы не были знакомы. Талантливый и умный человек. Ему тридцать семь лет. Высокий, слегка сутулый, в больших круглых очках, сквозь которые смотрят добрые и умные глаза, неторопливый в движениях; от него веяло какой-то теплотой и порядочностью. Очень молчаливый, он покорно и старательно исполнял всякую каторжную работу. Срок у него был три года, из них два с половиной он уже «отбыл». За

что он был осужден — он и сам не знал, как и большинство политических.

В Москве у него осталась старая мать, с ней он переписывался и жил только одной мыслью — вернуться к ней и к своей прежней работе — пианиста. Но последнее сильно осложнилось одним обстоятельством: на физической работе его руки так огрубели и заскорузли, что «размять» их, по его собственному выражению, почти невыносимо. Это его страшно огорчало и заставляло целые ночи проводить, не смыкая глаз.

Вечерами, после работы, когда мы бессильно валялись на грязные, вшивые нары, он показывал мне скрюченные, шершавые пальцы и взволнованно спрашивал:

— Как вы думаете, Сережа, отойдут они когда-нибудь?

Я всеми силами старался его заверить, что, конечно, он будет снова играть, но в душе я сильно сомневался в этом. И, как назло, все три года в концлагере он находился на самых тяжелых работах: то с лопатой в руках стоял по колено в тухлой болотной воде, то катал нагруженную землю тяжелую тачку, то вытаскивал из воды десятиаршинные бревна.

Есть люди хитрые, изворотливые, они за весь свой каторжный срок пальца о палец, как говорится, не ударят. Они устроятся парикмахером, поваром, каптером, завхозом... Но есть люди — по пять, по десять лет изо-дня в день катают тяжелую тачку. Это честные, скромные и покорные судьбе русские люди, попадающие в лагерь «за здорово живешь». К таким людям относился и Всеволод Федорович.

...Копер мерно вздрагивал. Закоперщик, молоденький пятнадцатилетний мальчик Коля, дергал спусковую веревку и вслух громко отсчитывал количество ударов. Солнце подымалось все выше и выше, опалая горячими лучами наши стриженные головы. На правом

и левом берегу речки, в пятидесяти метрах от нас, землекопы отсыпали конуса — будущие подходы к мосту. Я смотрел вверх и видел, как на насыпи, один за другим на фоне голубого неба появлялись люди с тачками, опрокидывали их, взмахивая руками, и снова откатывали пустые тачки. Они напоминали больших птиц, подлетающих к краю бездны и испуганно шарахающихся назад.

Несколько поодаль, в тени густых кустов дикой смородины, сидел на пне конвоир-охранник; свесив голову на грудь и, не выпуская винтовки из рук, он мирно спал. С утра он был пьян и к полудню его совсем развезло.

— Десятничек! — окликнул Митька-Пан Голубева.

— Ну, чево тебе? — лениво спросил тот, не отрываясь от вырезывания узоров на своем «метре».

— А что, ежели я подойду чичас к часовому, вырву у него винтовку, тресну его прикладом по башке, потом тебе — пулю, и айда в тайгу...

— Все едино не уйдешь, — негромко ответил Голубев.

— Почему?

— А потому, что на сотни километров тайга, болота да комары. Деревни появятся только на Вычегде. Пока ты до них доползешь — сдохнешь с голоду, али в трясине потопнешь.

— А я ж с винтовкой. Птиц стрелять буду, — вслух мечтал Митька-Пан.

— Во-первых, у тебя пять патронов. У нашего охранника больше не бывает. Во-вторых, ты стрелять не умеешь. Значит — в первый день все их расстреляешь... Нет, не уйдешь, Митька.

— Вот дьяволы! — возмутился Митька-Пан, — знала советская власть, где лагерь для нашего брата построить: болота, да чащобы...

— А ты как думал? Знамо, там люди... К-хе —

к-хе... люди... — и не договорив, старик Ефимыч закашлялся.

Я посмотрел на Всеволода Федоровича. Он, опустив низко голову и поблескивая на солнце стеклами очков, чему-то улыбался и сильно налегал грудью и руками на рычаг.

— Бух! — упала чугунная баба.

Снова наматывался трос на ворот, снова Коля дергал веревку...

— Бух!

— Бух!

— Бух!

Удары многоголосым эхом далеко разносились по тайге. Свая уходила все дальше и дальше в землю.

— Помощница смерти идет! — радостно закричал маленький закоперщик. — Кончай, ребята!

— Конча-а-а-ай! — покатилося по всей трассе.

На берегу из-за сосен показалась маленькая процессия. Впереди шла полная женщина, за нею — трое мужчин с фанерными ящиками на головах. Они несли обед. «Помощница смерти» получила это прозвище за то, что работала одно время санитаркой у лагерного фельдшера. Но за провинность (она выпила все эфирно-валериановые капли в аптечке) ее перевели сначала прачкой в баню, а потом смилостивились и поручили разносить обеды заключенным на работу. Женщина она была молодая и чрезвычайно сильная.

Каждый из нас получил по куску вонючей трески и по маленькому кусочку хлеба.

— Дай, ведьма, еще кусочек? — попросил Митька-Пан.

— У начальничка! — басом ответила она и командовала своим разносчикам: — Пошли дальше!

Мы присели на траву и с жадностью стали поглощать треску и хлеб.

Всеволод Федорович сжимал и разжимал пальцы.

— Слушайте, — сказал я. — А почему бы вам не

сходить к начальнику и не попросить его о переводе на какую-нибудь другую работу?

Всеволод Федорович грустно улыбнулся.

— Пробовал.

— Ну и что?

— Никогда не выходило.

— Знаете что? Сходите еще раз. Настаивайте.

Он пожал плечами.

— Бесполезно.

— Ах, какой вы! Надо добиваться. Иначе, конечно, ничего не выйдет.

Митька-Пан покосился на нас.

— Ты, Всеволод, взаправду сходи. Тебе работа не под силу. Я это вижу. Сдохнешь — как пить дать. Руки для музыканта — это верно, все. У меня был кореш, здорово на баяне играл. А потом на лесозаготовительном лагпункте не захотел работать и отрубил сам себе три пальца на левой руке. Так, потом, как ни прилаживался играть — ни черта не выходило.

Мы рассмеялись.

— Я — вор, — продолжал Митька-Пан, — но никакого бесчинства терпеть не могу. Вот и Ефимыча тоже бы надо освободить от сваебойства... Как, Ефимыч, а?

— Господь всех нас освободит, — тихо сказал старик.

— Вы, Митя, хоть и вор, но хороший человек, — сказал Всеволод Федорович, — куда лучше других, не воров. Только зря с десятником ругаетесь...

— Я еще ему башку срублю, — пообещал Митька-Пан. — Слышишь, десятничек?

— Слышу, — отозвался Голубев, доедая треску. — Только смотри, как бы я тебя первого не упрятал куда следует... Давай, начнем, ребятишки!

— Эх, кровопийца! — воскликнул Митька-Пан. — Дай хоть людям дых перевести.

Он вскочил. Разорванная до пояса рубашка об-

нажала сильную, исколотую татуировкой грудь и живот, весь покрытый ножевыми шрамами. Голубые глаза на бледном лице сверкали гневом и ненавистью. Секунда, и — случилось бы то, что давно обещал сделать Митька-Пан, но вдруг, резко повернувшись, он первый подошел к вороту и взялся за рычаг. Я видел, как прыгали желваки на его щеках.

Вечером мне удалось уговорить Всеволода Федоровича пойти к начальнику лагпункта. Отправились вместе.

Комендант долго не хотел нас выводить за «зону», но потом, махнув рукой, приказал охраннику сопровождать нас.

Начальник лагпункта Сулимов жил в маленьком домике, в стороне от лагпункта, обнесенного забором с колючей проволокой. Минут пятнадцать мы стояли в передней, ожидая, когда он нас примет.

Вошли.

Сулимов лежал, развалясь на койке, и кормил сахаром огромную собаку-овчарку. Ворот, украшенной кровавыми петличками, гимнастерки был раскрыт, ремень снят и несколько верхних пуговиц на синих галифе растегнуты.

— Ну, что надо? — спросил он, не глядя на нас и продолжая забавляться с собакой.

Мы нерешительно мялись.

— Ну? — повторил он.

— Видите ли... извините... робко начал Всеволод Федорович.

— Ну?

— Мы... я, собственно, по личному делу пришел.

— Ну?

— Я — пианист...

— Известный московский пианист, — добавил я.

Сулимов вскинул одну бровь и посмотрел искоса на меня.

— Вы потом будете говорить... Н-ну?

— Понимаете, гражданин начальник, — продолжал Всеволод Федорович, — я в течение двух лет нахожусь исключительно на физической работе. Мои руки превратились вот... видите, — он протянул обе руки вперед, — и если я лишусь рук, то... то я не смогу играть и, по выходе из лагеря, буду лишен куска хлеба, так-как кроме своего дела я ничего другого не знаю...

— Ну, и...? Пошла! — крикнул Сулимов на овчарку, прыгнувшую передними лапами на край койки. — Ишь, обрадовалась! Дальше!

— И я бы очень просил вас предоставить мне какую-либо другую работу.

— Так, — отчеканил Сулимов, — ну, а вы что хотите?

— Да я просто пришел вместе с ним, — ответил я. — Хочу лишь подтвердить, что ему действительно очень тяжело на сваебойной работе.

— А на тачку оба не хотите? — улыбаясь, спросил Сулимов. — По какой статье осуждены?

— Пятьдесят восемь, пункт десять, — ответил Всеволод Федорович.

— А-а... Нет, другой работы для вас не найду. Говорю — тачку могу вам предложить. Не устраивает? Мы молчали.

— Уведите, — скомандовал Сулимов конвоиру.

Митька-Пан, узнав о постигшей нас неудаче, сказал, что лучше всего, когда жить в лагере делается невтерпез, — это удрать. И предложил нам составить ему компанию. Мы отказались.

На другой день мы снова крутили ворот. Ефимыч все чаще кашлял и приседал порой на краешке копра.

— В гроб пора, Ефимыч, в гроб пора, — утешал Голубев.

— Я и сам знаю, что пора, — соглашался старичок, — да вот Господь Бог чегой-то все бережет.

— Ничего, ничего, время подойдет — помрешь,

— стругая палочку, продолжал десятник, — я уж восьмой год в лагере, я много таких как ты видел, всех схоронили потихоньку.

— А скольких ты, Голубь, загнал в землю? — осведомился Митька-Пан.

— Про то никто не знает, — усмехнувшись, ответил Голубев.

К полудню забили три сваи. После обеда все спустились к речке и стали подносить новые сваи к копру. Ночью прошел дождь и погода целый день хмурилась. Мокрая земля не просыхала.

Все девять человек, включая и Колю, несли тяжелое бревно. Четыре новых сваи уже лежали возле копра. Подниматься в гору с такой ношей было очень трудно. Все напрягали последние силы. Командовал Митька-Пан.

— Так... так, братва. Еще немного... так... Ефимыч, не сдавай. А еще лучше — отойди с-под бревна к чортовой бабушке... все одно — толк от тебя не великий... Всеволод, перемени плечо, а то башку свернет, когда бросать будем... Иван, не хитри. Чего плечико опускаешь? Все несут, значит и ты неси... Здоровый, а норовишь, как бы за чужой счет... Смотри на Ефимыча... Дохнет, а прет... Ну, осторожней, черти... Бросаем! Раз! Два Три!

Бревно полетело.

Всеволод поскользнулся на сыром суглинке и упал, далеко откинув правую руку. Ладонь уперлась в лежащую сваю. Бревно грохнулось и придавило Всеволоду пальцы.

-- О-ох! — тихо вскрикнул он.

Наступила тишина. Все растерялись.

— Чего смотрите? — закричал Митька-Пан. — Подымай!

Мы схватились за бревно и приподняли. Я выдернул руку Всеволода. Четыре пальцы были сплющены. Из-под ногтей неторопливо сочилась кровь. На наших

глазах кисть синела и пухла все больше и больше. Всеволод лежал на боку, молча, не поднимая головы. Очки упали и было странно видеть его профиль без очков.

— Сережа, — тихо позвал он.

Я наклонился.

— Кончено? Руки нет?..

Я молчал.

Подошел конвоир.

— Надо бы... того... к фельдшеру его отправить, — сдвигая на затылок фуражку и отдуваясь, негромко предложил он.

С насыпи, побросав тачки, бежали заключенные.

Всеволод Федорович поднялся и сел. Странно улыбаясь, он взял левой рукой правую и положил изуродованную кисть на колени.

— Играть, пожалуй, не сможешь, — огорченно произнес Митька-Пан.

Всеволод Федорович посмотрел мне в глаза. Я никогда не забуду этот страшный, удивленный взгляд.

— Идти можешь? — спросил конвоир.

Покачнувшись, Всеволод Федорович встал с нашей помощью.

— А отчего же и — нет? — спросил он.

В сопровождении подошедшего второго конвоира и мальчика Коли, он нетвердо пошел к лагпункту.

Я смотрел на его сгорбленную, высокую фигуру и думал о том, что хорошо бы забраться на самый верх копра и броситься оттуда вниз головой, чтобы не видеть больше этих бесконечных человеческих страданий на терпеливой русской земле.

Осенью сырым туманным утром Митька-Пан зарубил топором десятника Голубева и убежал в тайгу.

ВОСПИТАТЕЛЬ

В полдень пошел дождь. Потемневшие ели грустно опустили мохнатые лапы; с них, точно слезы, катились редкие светлые капли. Серые, рваные тучи бежали беспорядочно, цепляясь за острые верхушки стройных пихт.

Едва только скрылся в кустах можжевельника стеганый бушлат десятника Рублева, как мы, словно по команде, побросали ненавистные нам тачки и в одну секунду сгрудились у догоравшего костра. Вооруженный конвоир проследил за нами прищуренным взглядом и снова принялся за свое любимое занятие — жонглирование тремя камешками. Его дело — смотреть, чтобы заключенные не убежали, а работают они или не работают, это его не касается. Подгонял в лагере хватает и без него: начальники лагпунктов, их помощники, прорабы, десятники, нарядчики, коменданты, воспитатели.

Мы протянули озябшие руки к костру, но поблаженствовать долго не пришлось.

— Внимание! Гришка-Филон идет! — скомандовал семнадцатилетний вор-карманщик Сом.

Из леса прыгнул в песчаный забой маленький, тонконогий человек в кожаной порыжевшей куртке и еще издали тенорком закричал:

— Отдыхаете, граждане заключенные? А работать кто за вас будет? Пушкин?

Гришка-Филон был лагерным воспитателем. В прошлом — «тяжеловес» и «мокрушник» (бандит и

убийца), теперь он возглавлял на лагпункте культурно-воспитательную часть.

Изумительное изобретение это — воспитатель.

Гришка-Филон, как и мы, был заключенным, но почти пятнадцатилетнее пребывание в тюрьмах и лагерях с короткими перерывами жизни «на воле», научило его сразу же пристраиваться в лагере на теплых местечках. Работа воспитателя — одна из самых легких на советской каторге. Воспитатель имеет много преимуществ: он физически не трудится, получает самое лучшее питание, ему — почет и взятки и — большие шансы на досрочное освобождение. К этой «весьма ответственной» должности допускался только «социально-близкий элемент», как называют уголовных преступников чекисты, и ни в коем случае (упаси Боже!) не «политические». Правда, есть один минус в этой должности: жулик, раз побывавший в воспитателях, объявляется блатным миром вне закона, он считается изменником и в один прекрасный день его могут убить. Гришка-Филон знал это и заискивал перед жуликами.

Ему было 35 лет. Маленький, сухощавый, с бесцветными и всегда бегающими по сторонам глазами, с белой слюной в уголках рта, он производил отталкивающее впечатление. Подражая начальству, он носил зеленые уродливые галифе, хромовые сапоги, гимнастерку, кожаную куртку и фуражку á la товарищ Сталин. Срок у него был пять лет, из них — три он уже отбыл.

О своем последнем «деле» он говорил много и охотно. А «дело» заключалось в следующем маленьком происшествии: ночью, в темном переулке он «накрыл» женщину, а так как она отказалась добровольно и без шума отдать ему свою шубу, то он бритвой отрезал ей нос, а шубу все-таки отнял...

Гришка-Филон быстро подошел к нам и, подняв с

земли совковую лопату, в одну секунду разбросал костер.

— Греться захотели? — приговаривал он, орудуя лопатой, — греться? А вы за тачкой, за тачкой погрейтесь!

— Гражданин воспитатель, да ведь мы только-что присели, — взволнованно проговорил Николай Иванович Сушков, профессор-археолог, нашумевший в свое время в Москве интереснейшими статьями о раскопках в Бухаре. Слабый, совершенно больной он покорно в течение трех лет катал тачку. Осужден он был за «недонос» на своего брата — инженера, обвиненного во вредительстве.

Гришка-Филон, далеко откинув последнюю горящую головню, оперся на лопату, обвел нас белесыми глазами и, стараясь придать своему голосу нравоучительный тон, заговорил:

— Вы, граждане, находитесь, так сказать, в «Исправительно-трудовом лагере НКВД»... э-э... Это, так сказать, не царская каторга, а... а — исправительная. Советское правительство во главе с товарищем Сталиным... э-э... не наказывает преступников, а перевоспитывает... Вы, так сказать, враги народа и доверия вам нет... а потому вас надо перевоспитать, перековать, так сказать...

— Я не враг народа, а вор, — вставил Сом, — ты меня, Филон, в общую кучу не мешай...

— Я не тебе речь говорю, а политическим... Помните, граждане заключенные, только через труд и перековочку вы вернетесь в ряды полноправных советских граждан... А поэтому вывозите земли на тачках как можно больше... Норму вывозки надо не только выполнять, но и перевыполнять!..

Как ни грустно было слушать речь воспитателя, все-таки многие из нас хихикнули.

— Чего зубья показываете? — взревел Филон. — Работать надо, а не смеяться... Я тоже был первый

жулик и бандит, а теперь вот человеком стал... Норму надо делать! Норму!

— Ваши нормы, гражданин воспитатель, невыполнимы, — покачав головой, сказал профессор.

— Как это — невыполнимы? Ежели, конечно, ты не хочешь помочь нашей стране, то не выполнишь норму... Я тебя, старик, предупреждаю: если норму выполнять не будешь, отправишься на штрафной, так сказать, лагпункт... Кубики, кубики и кубики!..¹

Речь воспитателя затягивалась, а, следовательно, затягивался и отдых. Мы начали задавать ему бессмысленные вопросы, только затем, чтобы подольше оттянуть встречу с общим другом — тачкой. Но Филон скоро спохватился и грозно крикнул:

— Ну, вот что: хватит трепаться!.. Эй, старик, подымайся!.. За работу!

Заклученные, неторопясь, стали расходиться по своим забоям.

Сом поднялся и запел:

... Тачка, ты, тачка, ты меня не бойси-и...
Я тебя не трону, ты не беспокойси-и...

Он смачно воткнул лопату в голубой суглинок.

... Рвутся бурки, рвется аммонал,
На кой чорт мне сдался Беломорканал?..

От ежедневной, изнуряющей двенадцатичасовой физической работы нестерпимо болели спина и руки, на ладонях кровоточили мозоли, тачка валилась на бок, мучил голод.

На краю забоя, четко выделяясь на фоне рваных облаков, стоял маленький человек, запустив руки в карманы кожанки, в уродливых галифе, слюнявил де-

¹ Кубик — на лагерном языке — кубический метр грунта.

шевенькую папиросу и, в силу какого-то закона парадоксальности, этот крохотный кусок мерзости, сляпаный из всех присущих человеку пороков, олицетворял собой ту силу, которая заставляла сотни тысяч людей, в погоне за лишним кубометром земли, в надежде на какое-то мифическое «досрочное освобождение», в надежде на скорую встречу с родными сердцами, терпеливо ожидающими где-то своего мученика, — заставляла тянуть из себя последние силы, харкать кровью, возить, возить и возить тяжелую тачку...

На другой день чугунный буфер, висевший у вахты, разбудил нас особенно рано. Было совсем темно. Нудные, холодные звуки напоминали кладбищенский набат.

Все население лагпункта, тысячу двести человек, построили по бригадам у палаток и барачков. Что-то затевалось. Возле вахты толпилось начальство.

Горев, начальник лагпункта, вдребезги пьяный, едва стоял на ногах; очевидно он не протрезвился еще после вчерашней пьянки. Его бережно поддерживали два молодца с кровавыми петличками на шинелях.

— Тише! — крикнул один из них. — Начальник лагпункта хочет сказать вам несколько слов.

Горев слабо махнул рукой, глупо улыбнулся и выдавил:

— Гра...ык... гра...ык...

Тогда из свиты выскочил юркий Гришка-Филон, вскочил на пенек и заорал что было мочи:

— Граждане заключенные! Сиводне у нас аврал... Всем понятно? Сиводне мы должны, так сказать, во что бы то ни стало отсыпать подход к мосту на 85 пикете и... так сказать... пропустить поизд... Это задание на сиводнишний день идет от нашего начальника всех Ухто-Печерских Исправительно-Трудовых Лагерей — товарища Якова Мороза... Я думаю, товарищи... то-есть... граждане-заключенные... что партия, товарищ Сталин и товарищ Мороз зовут нас... на огромный под-

виг!.. Это вам не отмычкой замок открыть и не сумочку у мадамочки отрезать, а... так сказать, через труд и перековочку, пропустить поизд. Ура!

— Ура! — крикнули люди в малиновых петличках.

— Ура! — продребезжал единственный голос из толпы заключенных. Это взывал сгорбленный старичок, шатавшийся от слабости. Очевидно, он уже не соображал, что делал.

Построенный наспех, большой мост через реку Лунь-Вож был готов. Справа и слева от него возвышались два длинных недосыпанных земляных конуса.

В длину всего моста красовался яркий плакат: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства! (Сталин)».

Суетливые десятники быстро расставили бригады землекопов и работа началась. Забой нашей бригады находился на горе, метрах в ста от левого конуса. Часть бригады работала в огромной пещере старого забоя.

Прибежал Гришка-Филон, набивая пену у губ, быстро заговорил:

— Нажимайте, граждане. Сам товарищ Мороз приедет на открытие моста... Говорят всем скидки со сроков будут... досрочно освободят... оркестр приедет.

Маленький паровозик «кукушка», пронзительным свистом оглашая тайгу, подвозил шпалы и рельсы. Метр за метром укладывали путь.

Профессор Сушков с остервенением нагружал тачку песком, хилыми руками поднимал ее и, покачиваясь из стороны в сторону, вез по скользкому трапу вверх, на насыпь. Я видел, что он тратит последние силы.

— Оставьте, не торопитесь, — советовал я.

— А кто их знает, — отвечал он, прерывисто дыша, — может и действительно досрочно освободят.

Вскоре приехал духовой оркестр. Музыканты бы-

стро расположились на траве под соснами и заиграли бравурный фокстрот:

...Моя красавица мне очень нравится...

С насыпи вместе с тачкой скатился заключенный и сломал себе шею.

Профессор Сушков, нагрузив тачку, стал ее поднимать и вдруг, охнув, сел на землю, держась руками за живот. Я подбежал к нему и попытался приподнять его.

— Не надо... больно, — простонал он.

Подошел фельдшер, осмотрел профессора и равнодушно сказал санитарам:

— Надорвался... Унесите на лагпункт.

А люди, один за другим бежали по узким трапам, сваливались с них, снова поднимались и снова брались за лопату и тачку.

Приехал товарищ Мороз. Толстый, с добротной папиросой в зубах, он ходил от забоя к забою, носком блестящего хромового сапога трогал грунт и спрашивал у заключенных:

— Ну, как грунт?

или:

— Что-то тачка у тебя, брат, мала.

или:

— Запомните, что только через честный, самоотверженный труд вы смоете с себя ваши позорные пятна преступления.

В эти минуты он удивительно напоминал Гришку-Филона; мне показалось, что точно также, как у Гришки, у него набивалась у рта слюна.

После короткого обеденного перерыва около ста человек отказались подняться с земли. Конвоиры кричали, стреляли в воздух, но все было напрасно. Партию человек в двадцать кое-как подняли и погнали на лагпункт в карцер. Я видел, как только они скрылись из

глаз начальства, конвоиры дали полную волю кулакам и прикладам.

...Моя красавица мне очень нравится...

Выбежавший на минуту из пещеры Сом, подмигнул мне и, показав на избиваемых людей, весело сказал:

— Перевоспитывают!

Насыпь росла прямо на глазах. Оркестр играл без перерыва. Ввалившимися глазами заключенные злобно смотрели на музыкантов и ругались:

— Хоть бы они, сволочи, перестали играть! И так не вмоготу!

Со страшным грохотом обвалилась пещера, похоронив восемь человек, в том числе и Сома. Я едва успел отскочить от катившейся на меня большой глыбы земли.

...Моя красавица мне очень нравится...

Товарищ Мороз разрешил поставить полбригады на откопку трупов.

А с моста громко кричал плакат красивыми словами: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства! (Сталин)».

Поезд прошел через мост только вечером.

**

Три дня я валялся на нарах больной.

Пришел Гришка-Филон и принес мне письмо от отца из Москвы. Он долго вертел в руках конверт, потом вытащил из него письмо, отдал мне, а конверт сунул в карман.

— Дай мне и конверт — попросил я.

— Нельзя... Что-то он подозрительный, должен проверить... и ушел.

Вскоре Гришку-Филона досрочно освободили за «ударную» работу. Кажется, он был единственный че-

ловец, получивший такую дорогую награду за мост Лунь-Вожь.

Прошло полгода. Цынга скрючила мне ноги и я еле-еле выползал из барака. Я долго не имел весточки из дома и, когда новый воспитатель — в прошлом крупный аферист, Войцеховский, вручил мне второе письмо, я чуть не заплакал от радости. В письме, между прочим, отец мне писал:

«Вчера у нас был счастливый день: к нам пришел твой бывший воспитатель Семен Михайлович Огурцов. Пили чай, он нам долго рассказывал о тебе. Потом сказал, что завтра он едет назад в лагерь, где думает остаться на работе по вольному найму. Мы спросили, не будет ли он так любезен и не захватит ли что-нибудь для тебя? Он охотно согласился, сказал, что тебе надо приодеться попримечнее (почему ты до сих пор об этом не писал?). Мы дали ему два больших чемодана с вещами и продуктами для тебя. Получил ли ты их?»

Я сразу понял для чего у меня отобрал конверт Гришка-Филон.

Никаких чемоданов я, конечно, не получил и думаю, никогда не получу. Да дело и не в чемоданах. Ведь Семен Михайлович Огурцов был когда-то воспитателем Гришкой-Филоном и великолепно знает, что нужно заключенному в советском концлагере. Главное — перевоспитание, а все остальное — вещи второстепенные.

На то Гришка-Филон и воспитатель, чтоб знать это!

НА ЭТАПЕ

Глубокий трюм баржи. Слышен плеск волн за бортом. В трюме 3.000 человек. Кое-где горят фонари «летучая мышь», бросая слабый свет на спящих вповалку заключенных. Душно, сумрачно и смрадно. Рядом со мной сидит на разостланном ватном бушлате о. Сергей и что-то бормочет вполголоса. Бормочет уже давно, тихо и ровно, все одним и тем же голосом. Нас везут по этапу, рекой, в Усть-Вымь.

В соседнем отсеке, за толстыми столбами, подпирающими палубу, уголовники играют в карты. Они волнуются, вскрикивают и нехорошо ругаются. Мне отлично виден один из них. Он сидит без рубашки ко мне лицом, склонясь над ящиком-столом, на котором тускло горит дрожащая свеча. Он крив на левый глаз, и лицо его покрыто крупными угрями. Ему, очевидно, не везет, он волнуется и нервно кладет направо и налево замусоленные карты.

— Дана-бита... дана-бита...

— Бита! — негромко произносит его партнер, сидящий спиной ко мне. Я вижу только широкие плечи и курчавые волосы.

Кривой вскакивает и торопливо снимает с себя брюки, под взрыв хохота наблюдающих за игрой уголовников.

— Двадцать рублей!.. Идет?.. — спрашивает кривой у партнера, протягивая брюки.

— Идет.

— Сенька, не лезь в бутылку! — советует кривому пожилой жулик. — Все одно погоришь...

Но кривой Сенька не слушает его. Он поддергивает

спадающие кальсоны, усаживается на прежнее место, и игра продолжается. Но не долго, минут пять-шесть. По новому взрыву хохота я догадываюсь, что брюки проиграны.

Теперь Сеньке не отыгаться... — весело замечает кто-то.

— Отыграюсь еще... — мрачно сообщает кривой жулик и оглядывается по сторонам. — Ставлю новый пинжак.

— А где он? — спрашивает партнер.

— А вона... — отвечает Сенька и показывает рукой в отсек напротив.

Я приподнимаюсь и смотрю по направлению сенькиной руки, но никакого пиджака не вижу. В отсеке, густо набитом спящими в повалку заключенными, сумрачно. Лишь возле столба горит огарок и сидит какой-то белобородый старик и пьет кипяток из жестяной кружки. Лицо этого старика кажется удивительно знакомым, но я никак не могу вспомнить, где я его видел.

— Дана-бита... Дана-бита...

— Гони, Сенька, пинжак!

— Вот чичас потеха будет!

Сенька встает и, перешагивая через спящих, подходит к старику. Предчувствуя что-то недоброе, я напрягаю слух и зрение. Перестает бормотать и о. Сергей.

— Вам чего? — спрашивает старик, удивленно подымая глаза на Сеньку.

— Сымай, папаша, пинжак... — говорит Сенька, наклоняясь к старику.

— Это зачем?..

— Как зачем? — удивляется в свою очередь Сенька. — Я его в карты проиграл.

— Позвольте... Это мой пиджак.

Просьпаются спящие, приподымают головы и прислушиваются.

— Сымай, говорю, папаша!

— Послушайте... как же так...

— А, гад!.. Контра паршивая!..

Сенька бьет наотмашь старика по лицу, валит его на мокрые стлани и начинает срывать пиджак. Все смотрят и молчат. Никому не хочется ввязываться в историю.

— Нет... Это так нельзя... нельзя так... — говорит о. Сергей и хватает меня за плечо.

— Да помогите же! — кричит старик.

И словно по сигналу вскакивают человек двадцать политических заключенных.

— Товарищи! Не допустим! Бей жуликов!..

Мы бросаемся к месту происшествия. Всканивают и уголовники. Кое-где тускло сверкают зажатые в руках ножи. Секунда — и началась бы общая кровавая свалка, но уголовники — народ трусливый. Заметив, что политических больше, они быстро стушевались, спрятали ножи и рассеялись по своим местам. Кривой Сенька бросил старика и, размахивая бритвой, добрался до своего отсека.

Старик лежал на спине и тяжело дышал, закрыв глаза. Из разрезанной под глазом щеки текла кровь, Сенька успел-таки полоснуть его бритвой. Я посадил его, прислонив спиной к столбу, кто-то принес воды. Рана была неглубокая, кровь удалось вскоре унять, и старик пришел в себя.

— Вы!.. — удивленно произнес он, вглядываясь в меня. — Неужели не узнаете?.. Впрочем, это возможно, бороду я отпустил... Сахаров. Помните?

**

Я сразу вспомнил.

Это было в Бутырской тюрьме, в Москве, осенью. Следствие по моему делу было закончено, и меня перевели из подследственной камеры в общую подсудную. В камере было 107 человек (а полагалось — 25). Спали и на нарах, и под нарами, и на специальных «ночных» щитах — между нарами.

В один день со мной, вернее, через несколько

минут после меня, в камеру вошли еще три человека. И стало нас 111 человек. Нас, последних четверых, староста камеры положил под нары, возле самых дверей — на места на нарах существовала очередь.

Я быстро подружился с новыми знакомыми. Люди они оказались интересные. Особенно — двое: полковник Дурунча и Веселовский. Оба они были в прошлом русские эмигранты из Харбина. Но после продажи советским правительством Китайско-Восточной железной дороги, вернулись, к своему несчастью, в Россию вместе с другими многочисленными «возвращенцами». Первое время всё было благополучно. Осели кто-где. Полковник царской армии Дурунча получил совсем приличное место в Воронеже: он стал директором большого кинотеатра. Там же, в Воронеже, нашел тихую пристань (уж не помню где) и его приятель Веселовский. Завелись новые знакомства. Веселовский подружился с учителем математики Николаем Николаевичем Сахаровым. И все трое — Дурунча, Веселовский и Сахаров — стали коротать длинные зимние вечера за преферансом. Но вот пришел 1936 год. Прокатилась первая (весенняя) волна арестов, и под эту первую волну угодили все «харбинцы» в том числе, конечно, и Дурунча с Веселовским. А за ними, как «хороший знакомый» — и учитель Сахаров. Дурунче и Веселовскому инкриминировали 58-ю статью пункты 1-й (измена родине), пункт 4-й (связь с международной буржуазией), пункт 10-й (антисоветская агитация) и пункт 11-й (контрреволюционная организация), Сахарову — пункты 10-й и 11-й.

Следствие продолжалось семь месяцев. Веселовский и Сахаров не вынесли мучительных допросов и подписали всё, что им предлагал следователь. Дурунча подписал только частично, несмотря на чудовищные пытки и издевательства. В подсудной камере они впервые встретились все вместе. До этого они сидели в одиночных камерах.

Мы подружились. Я им рассказывал о себе, они

мне — о себе, часто вспоминали годы эмиграции в Харбине, и вспоминали о них всегда тепло. Рассказывали и свое «дело». Собственно говоря, «дела» никакого и не было, как и у всех нас. Все «дело» заключалось только в том, что они были эмигранты. И еще: у Веселовского где-то в Сингапуре или Сайгоне остался сын, не пожелавший вернуться в СССР. Этого сына НКВД никак не хотело простить Веселовскому.

Невысокий и полный, чуть седеющий, полковник Дурунча, был человек общительный и словоохотливый. Веселовский был слабовольным человеком. Он мучительно переживал заключение, часто вспоминал сына и раза два я слышал, как он плакал по ночам. Добрый, покорный Сахаров стоически переносил все несчастья.

Вскоре нам пришлось расстаться. Меня судили. Я получил уготовленные мне судьбой пять лет лишения свободы и прямо из зала московского городского суда угодил в пересыльную тюрьму. Эта тюрьма помещалась во дворе Бутырской тюрьмы, в бывшей арестантской церкви.

Больше я уже моих друзей-харбинцев не встречал. Но судьба их меня интересовала. Я часто справлялся о них у всяких «прохожих арестантов», но никто ничего не мог мне сообщить.

**

— Николай Николаевич!.. Боже мой!.. Да как же это! Растерзать надо этого мерзавца.

— Не надо... Бог с ним! Оставьте! — махнул рукой Сахаров, прикладывая к щеке окровавленное полотенце.

— Зверье! Вот зверье! — громко сказал какой-то заключенный интеллигентного вида. — Конвою бы сказать.

— Только попробуй стерва! — крикнул партнер кривого Сеньки. — Зарежем, как телку. И до лагеря не доедешь.

— Ну, мы посмотрим!

— Оставьте... и охота вам связываться... — тихо попросил Сахаров.

Подошел о. Сергей. Я познакомил его с Сахаровым.

— Пойдемте в наш отсек — предложил о. Сергей.
— Там у нас тихо, народ все хороший...

— Да мне все равно... Пожалуй, пойдем.

Я взял мешочек Сахарова, и мы перешли в наш отсек. Разбуженные шумом арестанты, снова укладывались спать. Жулики злобно посматривали на нас и о чем-то шептались.

— Ведь эдакий подлый народ! — сокрушенно качал головой Сахаров. — И откуда эдакая мразь появилась на русской земле? Ведь вот почитайте «Записки из мертвого дома» или другие дореволюционные тюремные мемуары, вы там эдакой подлости не встретите. — А сколько вы получили... сроку? — вдруг спросил он.

— Пять лет. А вы?

— Десять...

Я вспомнил про его однодельцев.

— А где же Дурунча и Веселовский! Не здесь ли на барже?

— Нет... их здесь нет...

— Другим этапом отправлены? Сколько они получили?

— Нет этапа им не вышло. Им другое вышло. — угрюмо ответил Сахаров. — Расстреляли...

О. Сергей перекрестился. Огарок свечи зашипел и потух. Стало совсем темно. Жулики перестали шептаться и тихо запели воровскую песню:

... Далеко, из Колымского края
Шлю, родная, тебе я привет ...

Вода плещет о борт, словно убаюкивает. Сыро, темно, смрадно. Тяжелый, многоголосый храп. А в сердце — тоска и холод...

О Д Н А Н О Ч Ь

Я стою возле маленького бревенчатого сооружения — мертвецкой.

Осень. Уныло бегут лохматые тучи, нагоняя на душу тоску. Белыми свечками стоят березки и слушают печальную панихиду — тихий шум тайги. В сумерках плавно опадают редкие, последние листья с деревьев; сухие, желтые, они неторопливо падают на сырую землю...

Мертвецкая находится в самом конце огромного лагпункта, возле колючей проволоки. Каждый день сюда привозят несколько трупов. Вырытая в земле, мертвецкая напоминает огромный братский гроб. Трупы лежат бок-о-бок на длинных, деревянных стелажах и безучастно ждут дня, когда их свалят на шаткую подводу, и худенькая лошадка «Зиночка» проковывает таежной дорожкой за реку и отвезет их на «Сосновую горку».

Закутанный в рваный бушлат, я поглядываю на низенькую дверь мертвецкой и курю махорку. Там, за этой ветхой дверью лежат люди, которых я еще несколько дней назад видел живыми, разговаривал с ними, вместе мечтал о будущем...

Третьим от входа, на правом стеллаже, лежит раздетый до-гола Максим Сорокин, мой давнишний товарищ по тюрьмам, студент, юркий, жизнерадостный, умный паренек. Он умер от цынги. Прямо под ним, на земле, скорчившись, лежит старик Потапыч, место которого — сторожа у мертвецкой — я занял сегодня. Старик умер вчера ночью на глинистых ступеньках

возле двери в мертвецкую. Слаб был Потапыч, девятый год таскался по тюрьмам и лагерям, подвело его сердце...

Холодно. Поеживаясь, я начинаю ходить, шлепая по земле старыми кордовыми ботинками. Мучает голод. Эх! хлебца бы вдоволь! Да сольцой бы покруче посолить.

. . . Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час . . .

Я сам на грани полного истощения. Глаза ввалились, руки бессильно висят вдоль тела. Последние дни я уже был не в состоянии возить тачки и, как ни кричали на меня десятники и прорабы, я целый день лежал в забое и смотрел на холодное небо, мечтая о скором конце, мысленно прощаясь с дорогими мне людьми, оставшимися где-то далеко, далеко. Но, как часто бывает в жизни, в последнюю минуту пришло спасение. Старик Потапыч неожиданно умер и освободилось его место, о котором мечтала не одна сотня заключенных. Перст Божий указал на меня. Один сердобольный прораб устроил мне место сторожа. Лучшей работы трудно придумать для заключенного. Я был обеспечен восемьюстами граммами хлеба ежедневно и гарантирован от самого страшного — изнуряющей работы с тачкой. Правда, для «доходяги» — человека совершенно истощенного — восемьсот граммов хлеба не ахти как много. Эта порция съедается за один присест.

Поет свою странную панихиду тайга, ночь черным саваном окутывает ее, и одна за другой потухают в сумраке свечи-березки.

. . . Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час . . .

— повторяю я одни и те же строчки, кутаясь в дырявый бушлат. Впереди — длинная осенняя ночь рядом с окоченевшими трупами.

Слышно, как на лагпункте, в одном из барачков,
хором поют жулики:

Ах, вот си-ижу я-а в одино-чке,
В окно тюремное-ое гляжу-у . . .

Я хорошо знаю эту песню, меня всегда поражало
в ней несоответствие текста с мелодией. Слова —
грустные, полные безысходной тоски, а мотив — раз-
ухабисто веселый.

. . . А слезы катятся, бра-атишка, незаметно
По исхуда-а-алому лицу-у . . .

с присвистом летит песня.

Я останавливаюсь и слушаю. В песню вливаются
звонкие женские голоса, очевидно, подхватил сосед-
ний женский барак.

. . . Меня-а окликнут часовые,
Окликнут раз, окликнут два-а
Взведут курки они свои стальные,
Тогда наве-ек убьют меня-а . . .

Интересный народ жулики. Они единственные из
заключенных, кто продолжают вести приблизительно
тот же образ жизни в лагере, что и на воле. Они ста-
раются получше одеться, играют в карты, воруют,
пьют одеколон и денатурированный спирт, любят, рев-
нуют, ссорятся из-за женщин... Они знают, что за лю-
бовную связь полагается карцер, и какой! Карцер, из
которого трудно выйти живым. И, все-таки, их это не
останавливает. Я никак не пойму, что это — хорошо
или плохо? Что это — «любовь сильнее смерти» или
отчаяние обреченных?

Песня смолкла и стало совсем тихо, как на клад-
бище. За проволокой, лениво шагая, прошел часовой и
негромко кашлянул. Я собрал сухие ветки, положил их
на землю и прилег.

. . . Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час . . .

Я поднялся и сел. В самом деле, почему же и я завтра не могу отправиться туда же, куда отправились Максим Сорокин и Потапыч? Разденут меня догола, отдадут мою одежду еще живому арестанту и положат на скользкие стелажы рядом с другими мертвецами.

Где-то в тайге прокричала сова. Я стал скручивать цыгарку. Но свернуть ее мне так и не удалось, я услышал осторожные шаги у стены мертвецкой.

Затаив дыхание, я стал напряженно слушать.

Несколько секунд было тихо, потом опять захрустели ветки под чьими-то шагами. Инстинктивно я взял в руки толстую палку.

Из мрака выросли две неясные фигуры.

— Потапыч... — негромко позвал мужской голос. Я встал во весь рост.

Обе фигуры быстро подошли ко мне. Это были мужчина и женщина.

— Нет Потапыча... — ответил я.

— Тише... — попросил мужчина. — А где он?

— Помер вчера.

— Помер? — удивленно протянул он. — Слыхала, Маруська?

— Жаль старичка... хороший старик был, — зевнув, отозвалась женщина.

Теперь я их разглядел. Он — молодой парень, в широких брюках, заправленных «по-блатному» в коротенькие сапожки. Она — остроносая девушка в казенной стеганой телогрейке. Подмышкой она держала что-то объемистое, завернутое в бумагу. Его я немного знал по лагерю. Поездной вор, за свое смазливое лицо он носил кличку Петька-Красюк.

— Чего же, Потапыча-то... туда положили? — осведомилась Маруська, показывая на мертвецкую.

— Да... там и он.

Кто-то вышел из барака, хлопнув дверью и зашагал, громко ругаясь. Гости мои разом присели на землю.

— Комендант, сволочь, ищет — прошипел Петька.
— Ишь, попер в третий барак.

В просвете между бараками смутно чернел силуэт человека. Когда он повернул за угол, Петька-Красюк поднялся, сдвинул назад кепку и, подойдя ко мне вплотную, зашептал:

— Слышь, ты... как тебя... Ты, что же, заместо Потапыча? Сторож?

— Да, сторож.

— Ты, брат, выручи... Понимаешь, дело такое... Коменданты ловят, некуда с бабой спрятаться... Сам понимаешь... дело такое... в карцере за ее, за дуру, сидеть не охота... А в бараке в аккурат вляпаешься... Так ты, это самое... пусти, понимаешь, к тебе... У нас с Потапычем все на мази было... Потапыч куш имел хороший через это... Маруська, дай-ка сюда, — он взял сверток сунул мне в руку, — тут хлеб... буханка... два кило... Да чего ты глаза вылупил?.. Ты не теряйся...

Я понял, что хотели от меня. От изумления я не мог вымолвить ни слова.

— Так все?.. — спросил Петька-Красюк. — Завязано? Пойдем, Маруська.

— Обожди... — остановил я. — Не могу я... разрешить.

Он грозно подвинулся и достал из кармана нож. Лезвие тускло сверкнуло.

— А этого не хочешь?.. Не будь дураком... Здесь я, может, и не стану с тобой связываться, а завтра в бараке прирежу, как суку последнюю... понял?.. Пошли, Маруська!

Они легко сбежали по земляным ступеням, открыли дверь и скрылись в мертвецкой.

Я растерянно стоял, держа буханку хлеба; она жгла мне руки.

Из мертвецкой послышался тихий смех женщины и приглушенный шопот Петьки:

— Обожди, я его чичас за ноги оттащу, оно и посвободней будет... ишь разлегся.

Я сел на хворост и швырнул в первый раз в жизни хлеб на землю.

Выплыла луна и голубым, слабым светом залила тайгу. Березки вновь засветились, вновь загорелись свечки, как будто прибавился еще один новый покойник. Пронзительно, как плакальщица, закричала сова. Легкий ветер зашуршал по сухой траве, понес рыжие листья; словно кадилами, тяжело закачали мохнатыми ветвями столетние ели.

Тайны жизни и смерти слились в один жуткий, нестройный аккорд...

ОДИССЕЯ АРЕСТАНТА

...Я лежу в лазарете на лагпункте Ром-Ю. Час назад маленький, веселый фельдшер откровенно объявил, что, кажется, мои дни сочтены и протяну я еще очень недолго. Да я и сам чувствовал, что дела мои плохи. Я «дошел» на 3-м лагпункте.

Горит ночничок, тускло освещая деревянные койки.

Час ночи. За брезентом тихо шумит тайга, напевавая зауспокойную всем нам.

Может быть, завтра меня свезут на кладбище Ром-Ю. Короткая жизнь прожита глупо и ненужно. Умирать в 22 года!

И со страшной ясностью я вспомнил начало моей тюремной карьеры...¹

Л у б я н к а - 2

...Сердце учащенно билось, когда я, в сопровождении агентов НКВД, выходил из автомобиля у подъезда Лубянки-2. Сейчас, пройдя мимо застывших, как изваяния, двух часовых у дверей, я войду в знаменитый дом, о котором в Москве, в каждой семье, так много рассказывалось шопотом всякой всячины.

Шел апрель, ясный, теплый апрель. Чуть брезжил рассвет. Обыск отнял всю ночь, и лица у моих агентов были по-утреннему неприятно-белые. Кое-где двига-

¹ В этом очерке, как и всюду в моей книге, подлинные фамилии заключенных заменены псевдонимами. Настоящие фамилии я оставляю только мертвым.

лись редкие прохожие. Двое из них, уже пройдя подъезд, как только увидели нашу подъехавшую машину, на секунду остановились, испуганно-участливо посмотрели на меня и сейчас же заторопились дальше: задерживаться долго у домов, подобных Лубянке, не рекомендуется.

Лубянка-2 — это бывшее страховое общество «Россия», приспособленное большевиками под хитроумную тюрьму. Стоит она в самом сердце Москвы, в центре, напротив бывшей китайгородской стены. Довольно приятный ампир, в котором выдержано здание, искалечен верхними тремя этажами социалистической безвкусицы, надстроеными, если не ошибаюсь, уже Ягодой. Стены владений своего предшественника Менжинского показались ему тесноватыми.

Так вот этот «Госужас» и ждал меня впереди.

Какая-то тяжелая, насквозь пропитанная кровью, атмосфера окружает эту Голгофу. Люди смотрят на нее искоса, робко приподнимая глаза. При встрече на площади с нагло и размахисто шагающими в кровавых петлицах чекистами с толстенными портфелями, набитыми папками «дел», у каждого мелькает мысль: «Может быть, он? Мой, отцов, братнин, материн настоящий или будущий мучитель? Может быть, он спускает курок револьвера и выстрелом в затылок обрывает жизнь беспомощно повернувшегося к стене дорогого мне человека или таким же способом со временем оборвет и мою жизнь?».

...Мы проходим вестибюль, открываем одну за другой двери, спускаемся 5-6 ступенек вниз и входим в большую без окон комнату. Ярко светят мощные матовые лампы. За низенькой, по пояс, перегородкой — несколько столов, заваленных бумагами, папками; эти же бесчисленные бумаги и папки лежат на полках по стенам почти до потолка. Шуршат листами перебирающие и что-то ищущие в них, одетые в форму чекисты. Несколько в стороне от перегородки стоит

совершенно голый человек в роговых очках с трясущейся нижней губой, с раскинутыми в стороны руками. Меня подводят к нему, приказывают не шевелиться, и я вижу на его теле характерные пупырышки нервного озноба.

Красноармеец или, как зовут в тюрьмах всего Советского Союза этих мелких палачей, обыскивающих, стерегущих, конвоирующих заключенных — «попка», пошарив у голого подмышками, сунул руку ему в пах.

— Острых предметов нет?

— Какие же могут быть у голого человека острые предметы? — раздраженно ответили «очки».

Мне приказали тоже раздеться. Потные руки шарят по моему обнаженному телу, ища «острых предметов». На моей коже появляются пупырышки, как и у товарища по несчастью.

Это, так называемый, «личный» обыск.

Есть два сорта охранников. Одни — отбывающие действительную службу в войсках НКВД красноармейцы, люди, у которых чувствуется принужденность их занятий, и у которых можно часто поймать сочувствующий вам взгляд.

Второй сорт «попок», — «попки» по призванию, из любви, так сказать к искусству. Люди без всякой профессии, тупые, крайне ограниченные, которым работа в тюрьмах и лагерях, кроме хорошего заработка, доставляет определенное удовольствие. Пожалуй, к такому роду служак можно отнести и следователей. К этой категории принадлежал и «попка», обыскивающий меня. Делал он обыск потрясающе тщательно. Не остался необшаренным ни один рубчик на моей одежде.

Арестовавшие и сопровождавшие меня агенты, довольные, что сбыли меня с рук, ушли. «Попка» бросает мне одежду, предварительно срезав металлические пряжки с моих брюк, вытащив все из карманов и зачем-то отрезав несколько пуговиц. Ремень не возвратил. Все эти предметы отнимаются единственно с одной

целью: лишить человека возможности покончить с собой в камере. Но старания их излишни, так как задумавший рассчитаться с проклятой жизнью заключенный обычно просто с короткого разбега ударяется наклоненной головой о каменную стену тюремного двора или камеры, и — конец.

Меня приводят в отдельную смежную комнату и усаживают за стол. Вручается «анкета заключенного». В ней, кроме обычных вопросов об имени, годе рождения и т. д., надо почти до десятого поколения описать всех своих родственников. Вопрос о принадлежности к белой армии никак не подходил мне, ибо я имел несчастье родиться вместе с приходом к власти большевиков, и во время ареста мне было неполных 20 лет. Ничто же сумняшися, я прочеркнул этот параграф. Буквы прыгали, голова после бессонной ночи плохо работала.

С анкетой покончено, я расписываюсь. Новый «попка» ведет меня по бесконечным коридорам с паркетными полами и ковровыми дорожками. При переходах из одного коридора в другой, на углах вспыхивают при нашем приближении красные глазки, — это мы ногами где-то под ковровой дорожкой нажимаем кнопки, сигнализирующие огоньками встречному; если попадается таковой и если он заключенный, то одного из нас конвоир моментально хватает за плечи и поворачивает лицом к стене. Оружия, по крайней мере поверх одежды, у конвоя на Лубянке, как правило, нет.

Спускаемся вниз в полуподвальное помещение. Короткий коридор с камерами налево и направо, так называемый «собачник». Посередине маячит дежурный в мягких войлочных туфлях, надетых прямо на сапоги для того, чтобы бесшумно подкрадываться к волчкам камер и подглядывать, как ведут себя заключенные. Сразу налево — камера душ. Снова раздеваюсь и принимаю душ.

Мокрого, держащего одной рукой брюки, на кото-

рых нет ни ремня, ни пуговиц, меня ведут по коридору. Остановливаемся у камеры направо — № 4. Дежурный с тихим звоном вкладывает в замок ключ и, держа перед глазами мой формуляр, шопотом спрашивает (обязательно шопотом: таинственность! На Лубянке всюду тихо, кроме следовательских кабинетов и самых глубоких подвалов):

— Как фамилия?

Называю. Щелкает ключ и я вхожу. Дверь снова захлопывается. В крохотной камере три железных, привинченных к полу, кровати. Окно с толстой решеткой, полуподвальное, выходит на внутренний двор, на окне снаружи — козырек, оставляющий для обозрения только клочок неба. На койках сразу из лежачего приходят в сидячее положение две фигуры. Один, восточного типа, с забинтованной головой впивается в меня черными лихорадочными глазами. Другой, полный, лет 45-50, с солидной лысиной, щурясь, торопливо спрашивает вполголоса:

— Допрашивали?

— Нет еще, — отвечаю я.

Я бросаю свой рюкзачок на свободную койку, сажусь, обхватываю руками голову. Если бы только знать: в чем состоит мое преступление?

Дав мне прийти в себя, на меня, как на новичка «с воли», с жадностью набросились оба заключенных. Со своей стороны я выяснил, что «восточный» — некто Копылов, нарком крымской местной промышленности, в прошлом один из командиров какой-то красной дивизии, орудовавшей на Кавказе. На его защитной гимнастерке от бывшего величия остались лишь три дырки от орденов, пожалованных правительством. На мой вопрос, где же ордена теперь, Копылов, криво усмехаясь, ответил, что отвинтили при аресте. Сидел он уже неделю и обвинялся, кажется, по всем четырнадцати пунктам знаменитой 58 статьи: и в измене

родине, и в шпионаже, и во вредительстве, и в саботаже...

Второй был поэт Петр Парфенов, автор известной песни «По долинам и по взгорьям». После ареста Парфенова авторство таинственным образом перешло к С. Алымову, находившемуся на свободе и восхвалявшему величие Сталина.

Поэту инкриминировали контрреволюционную и антисоветскую агитацию.

— Кем подписан ваш ордер на арест?

— Ягодой, — ответил я.

— Тогда ваше дело плохо, — утешил меня Парфенов.

Копылов, поправляя повязку на голове, хрипло проговорил:

— Предупреждаю вас, молодой человек, следствие — штука серьезная. Прежде всего: не малодушничайте, не подписывайте всякой чепухи, какую вам будет предлагать следователь, не запутывайте других. Держитесь крепче. Видите, как меня отделали? — и он показал на голову. Потом поднял рубашку и я увидел синие ровные полосы, идущие от живота к левой груди.

По двору, чеканя шаги, прошла смена. Гулко раздалось «Служим трудовому народу!» Менялся караул.

Оба мои однокамерники недоумевали, каким образом меня, новичка, посадили сразу в общую камеру. Обычно до первого допроса держат в одиночке. И действительно, их предсказания, что меня возьмут в одиночку, сбылись. Вскоре послышалось движение в коридоре и кто-то раздраженно сказал:

— Ну, как же ты так... Неужели не знаешь?..

Вошел «попка» и приказал немедленно собраться с вещами. Я распрощался с Копыловым и Парфеновым и вышел из камеры. С первым мне уже не довелось встретиться; только восемь месяцев спустя, сидя в подсудной 55-ой камере в Бутырках, перестукиваясь с товарищем, я узнал, что Копылов «поехал на луну». А

со вторым встретился я в тюремной больнице. Позднее я узнал, что его тоже расстреляли.

Меня вывели в коридор и посадили в одиночку № 8. Копылов вдогонку крикнул:

— Институт он уже прошел... Припозднились маленько...

Ему пригрозили.

Маленькая, без окна, камера. Тускло горит где-то сверху пыльная лампочка. Обессилевший, я протиснулся между стеной и койкой и повалился на железную сетку.

Кто-то в конце коридора отчаянно стучал в дверь и кричал: «Я не могу больше! Выпустите меня, ради Бога!.. У меня жена, дети... Я не преступник... Я ничего не делал... Я не убил, не ограбил...»

Должно быть, открыли дверь, и голос стал громче... «Честное слово, я — не преступник. Что вы делаете?! Ой, руку, руку-у! Пустите...». Очевидно, ему крутили руки и затыкали рот.

Снова все стихло.

Страшно хотелось спать. Но (это тоже «метод» на Лубянке — не давать спать) через 10 минут меня опять повели.

Я иду на первый допрос...

Лифт. Пятый этаж. 517 комната.

Был апрель 1936 года. В это время, в этом же здании, допрашивались подготовляемые к грандиозному государственному процессу Зиновьев и Каменев со своими четырнадцатью однодельцами.

Д о п р о с

...Хорошо обставленный, большой кабинет. Сразу у двери направо — мягкий кожаный диван, слева — тяжелый дубовый шкаф, доходящий почти до потолка, прямо у окна, отражаясь в глянце паркета, — два сдвинутых вместе добротных письменных стола; окно

с легкой решеткой выходило во внутренний двор Лубянки. На столах — чернильницы и груды моих «вещественных доказательств»: рукописи, фотографии, письма, отобранные у меня при обыске.

За правым письменным столом сидел следователь, плотный, средних лет человек, в форме, с портупеей через плечо. Он хмурил густые брови и рассматривал мои «вещественные доказательства». Мельком взглянув на меня, он продолжал перебирать бумаги. Не оторвался от своего занятия — чистки вороненого браунинга — и помощник следователя, молодой парень, восседавший за другим столом.

«Попка» по знаку следователя вышел, бесшумно закрыв дверь. Я стоял, положив руку на спинку свободного кресла, и ждал. Сейчас все выяснится, и меня, конечно, отпустят домой. Чего бояться? Я — не преступник, моя совесть чиста. Просто какое-то чудовищное недоразумение.

Прошло минут десять. Откуда-то, должно быть с Лубянской площади, глухо доносились гудки автомобилей и знакомый до боли городской многоголосый шум.

— Снимите руку с кресла, — тихо предложил следователь.

Я покорно снял, хотя еле держался на ногах от усталости. Неужели не предложит сесть?

Следователь вдруг бросил перо, откинулся назад и долго смотрел мне в глаза немигающим, «испытывающим» взглядом.

— Н-у?.. — протянул он.

— Чему и кому я обязан, товарищ следователь... — начал было я по старой привычке обращения с советскими гражданами.

— Я тебе не товарищ! — криком прервал он, стукнув ладонью по столу, и тише добавил: — За что арестовали? Старая уловка! Ну-ка, распишись...

Подал бумажку. Читаю.

«...Предъявлено обвинение по статье 58, пункты 8, 10 и 11 уголовного кодекса РСФСР». Это значило — террор против руководителей партии большевиков, контрреволюционная организация и антисоветская агитация. Хорошенький букетик! Если все подтвердится — «луна» обеспечена. Внизу приписка: «читал». Раз только «читал» — подписываю. Следователь поспешно выхватывает ее у меня и подает целую стопу безграмотно исписанных листов.

«Протокол предварительного следствия по делу №...» — прочитал я на заглавном листе. Первая страница начиналась так:

В о п р о с: Признаете ли вы себя членом контрреволюционной террористической организации студенчества Москвы?

О т в е т: Да, признаю. В наши задачи входило...»

Дальше шло перечисление на двадцати или тридцати страницах от моего имени всех «злодеяний», какие нам предстояло совершить.

— Нет, я не могу этого подписать, — сказал я, кладя «дело» на стол.

— Почему? — с притворным удивлением осведомился он.

— Все неправда, никакой организации не было.

Вскочив, перегнувшись через стол и брызжа слюной, он закричал мне в лицо:

— Не-е было?! А хочешь я тебе сотню свидетелей выставлю? Ведь все ваши арестованы, все сознались, здесь они, зде-есь! Никуда не уйдете! Мы знали ваш каждый шаг!.. Где ты был 5 января? На квартире у Макарова. О чем говорили? О том, что советское студенчество — самая лучшая платформа для контрреволюции... А помнишь, пьянствовал с друзьями в «Метрополе» и читал стихи белобандита Гумилева? 13 февраля ты шел из редакции «Мурзилки» с поэтом Вирой через Красную площадь и, показав на мавзолей Ленина, рассказал

антисоветский анекдот. Так? Ведь так? Мы все-е знаем!

В первую минуту я был ошеломлен подробностями моей жизни, но потом я понял, что, в сущности, он знает только голые факты: куда пошел, с кем, что делал, а характер моих бесед был или вымышленный или сильно извращен.

Еще несколько вопросов, и следователь предлагает:

— Садитесь. Папироску? Не хотите? Жаль. Кушать позвонить? — рука тянется к кнопке на стене. — Тоже не хотите? Жаль. Пользуйтесь моментом, а то, может, ни покушать, ни покурить больше не придется. Конечно, если сознаетесь, другое дело: годика два-три получите, отсидите и — снова полноправный гражданин Советского Союза. Ну, а если... Впрочем, не хотите же вы расстаться со своей молодой жизнью...

Я с наслаждением сидел в кресле, — так удобно! Голова чуть кружилась, несмотря на все внимание, мысли путались.

— Тэк-с... — порывшись в куче моих фотографий, следователь задержался на секунду на лице одной кино-актрисы и показал мне другое фото.

— Узнаете?

Человек, фото которого держал в руках следователь, был инженер, большой знаток литературы и искусства, милейший, очень любивший молодежь человек. Приходил к нам на литературные вечера, иногда мы их устраивали на его квартире.

Следователь сообщил:

— Он — непосредственный руководитель вашей организации. Полковник, тесно связанный с одним из враждебных нам государств. Вы были его опорой в вашем институте, Макаров — в архитектурном, Корин — в горном. Имел отношение к Воронскому, Сосновскому — заклятым врагам народа. Фамилии, надеюсь, знакомы?

— Я не верю, что он контрреволюционер.

— Не веришь?! — А-а... гад! — Подняв ногу, он ловко ударил меня сапогом в грудь, и вместе с креслом я грохнулся навзничь, больно стукнувшись головой об пол. Поплыл куда-то потолок, все закружилось, но через секунду-две я уже медленно вставал на ноги.

Я стоял, пошатываясь и стараясь понять случившееся.

— Не хочешь по-человечески разговаривать, так мы по-другому поговорим, — грозил следователь, тяжело дыша. — Мы с тобой цацкаться не будем, сволочь этакая. Еще следствие вести на такого гада. Пристрелить, как собаку...

— Это можно, — услужливо предложил помощник и, подойдя, приставил дуло браунинга к моему виску.

— Подпишешь?

Сталь холодит висок. В одно мгновение пробегают милые картинки далекой родной обстановки, образы дорогих мне людей, какие-то мелкие, незначительные жизненные эпизоды. Но это — мгновение, и снова возврат к страшной действительности. Сейчас, вот сейчас — смерть... Может быть, подписать? Или сразу уж... чтоб не мучиться. Вдруг — еще мысль: а если это метод, игра? Ведь не могут же они убить меня без нужных на то санкций? Кроме того, я им нужен еще для «дела»...

— Ну-у? — протянул помощник.

— Стой! — не стреляй, — сделал вид, что останавливает приятеля следователь.

Помощник, ткнув меня дулом револьвера, отошел. Следователь, сладко улыбаясь, протянул обмакнутую в чернила ручку.

— На подпиши и иди спать. Обед я тебе пришлю. Отдохнешь. На... возьми.

— Не могу, — едва выдавил я.

Сильный удар кулаком в лицо снова свалил меня с

ног. Я хотел подняться, но кожаный сапог следователя прижал меня к полу. Били ногами, стараясь попасть в самые чувствительные места тела. Скорчившись, сцепив зубы, я руками защищал голову. Из разбитых носа и рта ручьями лила соленая, липкая кровь... «Человек — это звучит гордо».

Тихо вздрагивает лифт, унося меня куда-то вниз...

О ч н а я с т а в к а

...Я сижу на койке в своей одиночке и тюремный врач раскручивает бинт на моей голове. На последнем допросе следователь стукнул меня рукояткой револьвера и раскроил голову.

— Скольких вам в день приходится перевязывать?
— спрашиваю я у врача.

Он упорно молчит. Меня это злит.

— Какой же смысл: избить, а потом лечить, а через день опять избить?.. Уж лучше сразу забить до смерти...

— Не разговаривать... — тихо, но строго предлагает он.

Сняв бинт, врач присыпает рану каким-то порошком и сообщает, что повязка больше не нужна. Я протестую, но он молча берет бинт и уходит. Щелкает замок.

Я валюсь на железную койку и закрываю глаза.

Уже целый месяц мучительных, изматывающих и душу и тело допросов. Два раза я терял сознание в кабинете следователя и кто-то переносил меня снова в камеру. Побывал я и в «резинке». Так называется камера-карцер, куда сажают на некоторое время непокорных» подследственных. Стены и пол этой камеры обиты толстой резиной. Света нет, абсолютный мрак. Духота. Ни звука. Заключение сидит в темноте и чувствует вокруг себя только липкую, словно облитую

кровью, резину. Он может кричать сколько ему угодно, биться головой о стенку — никто ему не ответит. Все это страшно действует на психику, и двух дней пребывания в такой камере достаточно, чтобы заключенный заколотил кулаками в резиновую дверь и закричал, что согласен подписать любой протокол, любой поклеп на себя. Здесь все подавляет и заставляет напрягать нервы до крайности: и тишина, и темнота, и непрерывное соприкосновение с липкой холодной резиной пола и стен — кажется, что вся камера залита кровью. А когда выходишь оттуда, то свет нестерпимо режет глаза, отвыкшие от него, и, идя с конвоиром по коридору, налетаешь на стены, как слепой котенок.

— Тук-тук. Тук-тук-тук-тук... — настойчиво стучали мне из соседней камеры. Я уже стал немного понимать язык тюремных стен. Но на слух еще не принимал и не передавал. На серой штукатурке у меня была нацарапана азбучная табличка в клеточках, образованная линиями: по горизонтали стояло пять букв, а по вертикали — шесть. Это лубянская система. В Бутырках наоборот: горизонталь — шесть, вертикаль — пять). Научил меня перестукиваться сосед, который каждую свободную от допросов минуту стучал мне пять раз вдоль стены и, очевидно, вставая на койку, стучал шесть раз от потолка до пола, и я понял, в чем дело. Нацарапав на стене сетку, я стал с ним перестукиваться.

Приходит «попка». Он приказывает идти с ним. Я несколько удивлен. Обычно допросы происходят ночью, а сейчас — день. А, может быть, — свобода? Всегда, даже при самом скверном положении дела, у заключенного при звуке ключа в замке мелькает затаенная мысль о свободе.

Но нет. Я снова в кабинете следователя. Он сидит за столом и говорит по телефону.

— Галочка, ты не сердись, пожалуйста. Я к обеду не успею приехать... Что?.. К ужину? К ужину, конеч-

но, приеду... Понимаешь, туча всяких дел. Да! Позвони Григорьеву и попроси его достать на воскресенье два билета в Большой на «Тихий Дон»... у него там блат есть — достанет... Пока, Галочка!

Следователь положил трубку, откинулся на спинку кресла, посмотрел на меня и предложил сесть. Я сел.

— Как жизнь молодая?

— Потихоньку, — ответил я, подлаживаясь к его тону.

— Смотрите-ка, на улице — весна, май, цветы, девочки. А вы сидите и будете сидеть пока не сознаетесь.

— Это не логично. Если сознаюсь — еще дольше сидеть буду.

— Глупости! Это ж — секретно-политический отдел НКВД, а не какой-нибудь литературный кабак. Здесь всё по закону... Да, в каких вы отношениях были с Дубовым?

— В хороших.

— Личных счетов никаких не было?

— Нет.

— Так и запишем?

— Можно.

— Распишитесь...

Я подписываю.

— Теперь я даю вам очную ставку... — с улыбкой сообщает следователь и нажимает кнопку сбоку письменного стола.

Ага! Вот почему мне сняли повязку с головы.

Я сильно волнуюсь, слышу стук своего сердца. Сейчас я увижу своего товарища-студента, с которым у меня была крепкая дружба на протяжении многих лет. Я почти убежден, что он не будет давать показаний против меня, но меня волнует встреча с ним в т а к о й обстановке. Я с нетерпением поглядываю на дверь.

В сопровождении конвоира входит бледный Дубов; он комкает в дрожащих руках кепку и испуганно

смотрит на следователя, словно и не замечает меня. По его безукоризненному белому воротничку рубашки, галстуку, гладко выбритым щекам я догадываюсь, что он «на воле».

— Гражданин Дубов, — начал следователь, — в своих показаниях прошлый раз вы характеризовали его (он показал на меня), как врага народа. Подтвердите это ему в глаза.

— Да... да, — растерянно залепетал Дубов.

— Что — да, да? — рассердился следователь. — Вы расскажите ему и мне подробно о всей его контрреволюционной деятельности.

— Да... враг народа, — начал было Дубов и умолк. Его наполненные слезами глаза встретились с моими, быстро скользнули вниз и застыли на моем, высовывавшемся из разорванной рубашки, обнаженном плече. Я понял, что передо мною разыгрывалась пьеса, пропетитованная раньше.

— В таком случае я вам напомню, — сказал следователь. — Слушайте.

Он стал читать длинный свиток моих «преступлений». Много было уделено места моим «планам организации из московского студенчества ударной террористической группы против вождей ВКП(б)». И кончалось показание приблизительно так: «...Я со всей ответственностью честного советского студента заявляю, что мы имеем дело с идейным, коварным и убежденным врагом народа», — и подпись.

По слогу, по безграмотным оборотам, — а Дубов был очень интеллигентный человек, — я сразу догадался, что все написано самим следователем, а Дубов только подписался. Очевидно, вопрос был поставлен в ультимативной форме: или подпиши, или сам сядешь в Лубянку. Дубов избрал, разумеется, первое. Конечно, все было скреплено подпиской о неразглашении.

Еще одна деталь: на листах в показаниях моего товарища оставались между строчками большие пустоты.

В дальнейшем эти пустоты будут заполнены тем «материалом», какой смастерит изобретательный следователь. Подписывая документ, Дубов, конечно, не будет об этом знать.

— Вот видите!.. — торжественно сказал следователь. — Даже ваш лучший товарищ в глаза вам заявляет, что вы враг советской власти. А вы не хотите признаться в этом. Глупо, наконец... Дубов, распишитесь, пожалуйста, под вашими показаниями... А вы, что вы скажете в свое оправдание? — обратился он ко мне.

Я молчал, соображая. Ловко! Строить оправдание на личных счетах теперь невозможно: я подписал, что личных счетов у меня с Дубовым не было. Да и не повернется язык так чудовищно лгать. Чем же, действительно, я мог оправдаться?

— Я скажу на суде правду. Вы его запугали и заставили подписать всю эту чепуху.

Следователь захохотал, нажимая кнопку звонка.

— Ха... и вы думаете — вам поверят? Чудак вы человек...

Я смотрел в сгорбленную спину уходящего с конвоиром Дубова и вспоминал этого человека раньше, веселого, умного, честного, прекрасного товарища. Что же теперь, винить мне его или не винить за то, что он, спасая свою жизнь, губит мою? И разве мне легче будет от того, что к семи или восьми миллионам политических заключенных прибавится еще один? Где-то в глубине души шевелилась еще одна мысль — надежда: может быть, на суде он откажется от своих показаний и смело расскажет судьям, как его заставили подписать эту страшную клевету.

Сквозь решетку в окно струился пряный весенний запах тополей.

С у д

Зал № 4 в московском городском суде.

Мы сидим в первом ряду стульев. Прямо перед нами, на возвышении — большой стол, за ним — три пустых кресла; среднее выше и солиднее других, это — для судьи. Со стены насмешливо смотрит на нас прищуренным взглядом Сталин.

Кроме нас, подсудимых, в зале находятся еще четыре конвоира, застывшие за нашими спинами, и секретарь суда — курносая, краснощекая девица, копошащаяся в бумагах за особым столиком слева.

Из зала ожидания, доносится гудение человеческих голосов. Там — наши родные и просто чужие люди. Все они ждут нашего приговора. Чужие ждут не из простого любопытства, нет, а чтобы иметь приблизительное представление о судьбах их братьев, отцов, дочерей, сидящих еще в Лубянке или в Бутырке и ожидающих своей очереди предстать перед «самым справедливым из всех судов — пролетарским судом».

Судить нас будет «специальная коллегия» при закрытых дверях, ибо политических «преступников» в стране Советов открытым судом не судят.

Курносая девица осведомляется: знакомы ли мы с «делом». Получив отрицательный ответ, она вручает нам толстую папку: 352 страницы!

Перелистываем. Протоколы допросов, протоколы показаний свидетелей, фотографии и... все. Странное дело: нет ни одного из наших заявлений прокурорам о тех издевательствах, какие творили следователи во время допросов. А ведь мы писали очень много подобных заявлений: и московскому прокурору, и верховному — Вышинскому, и «прокурору по надзору за НКВД».

Девица на вопрос, куда девались все эти заявления, — лишь пожала плечами и ничего не ответила. Может быть, суд нам скажет?

Томительное, нервное ожидание. Дверь из комнаты справа, наконец, отворилась, и быстро вошли три человека: двое — в штатском и один — в защитной военной гимнастерке и в брюках-галифе. Это — судьи. Иванов. Пронин. Седых. Председательствовал Иванов, тот, что был в военной гимнастерке.

Быстро, как люди, у которых много дела, они заняли свои места за столом, и после официального открытия суда, чтения обвинительного заключения, председатель Иванов по очереди опросил нас: признаем ли мы себя виновными? Услышав от каждого из обвиняемых односложное слово «нет», он иронически улыбнулся и переглянулся с заседателями.

Подумав, он спросил:

— Почему же некоторые из вас сознались на следствии, а теперь отрицают наличие преступления? Например, подсудимый Жаров, вы...

Мой товарищ, студент Жаров, встал и, спросив разрешения, осведомился: не знают ли граждане судьи, куда исчезли заявления прокурорам.

— А вы их писали? — быстро задал вопрос Пронин.

— Да.

— Если бы вы их писали, то они все бы тут были, — проговорил Иванов и добавил, — о чем же писали?

— О неправильности ведения следствия. Над нами издевались, заставляли силой подписывать протоколы допросов.

— Может быть, били? — опять усмехнувшись, спросил Иванов.

— Этого мало. Нас сутками заставляли стоять на одном месте, не давали спать, вставляли в рот дула браунингов, держали голодными в карцерах и...

— Вы, очевидно, хотите, чтобы я вас привлек к ответственности за клевету на НКВД?

Стало все ясным. И НКВД и «специальная коллегия московского городского суда» — одна лавочка.

Часа полтора судьи перекрестным допросом пытались разобраться в «контрреволюционной террористической организации студенчества Москвы» и когда увидели, что «террора» и «организации» никак не смастеришь, стали напоминать нам «мелочи»: антисоветские анекдоты, различные двусмысленные фразы, где-то оброненные и кем-то подслушанные.

— Позовите свидетеля Дубова, — приказал Иванов одному из конвойных.

Свидетели — наша последняя надежда. Все они — товарищи по институту, а некоторые и друзья детства. Неужели они не заявят суду, что все их показания на допросах — плод ума следователя, а от них — только подписи под протоколами. Неужели они не найдут в себе смелости сказать правду?

Вошел Дубов и робко остановился возле судейского стола, подальше от нас.

— Свидетель Дубов, я вам напомню ваши показания на предварительном следствии.

Иванов, найдя нужные листы, быстро стал читать безграмотную галиматью за подписью Дубова. Большинство обвинений были направлены против меня и инженера Павлова, из которого следователь сотворил «полковника белой армии и лицо, непосредственно возглавлявшее студенческую террористическую организацию».

Закончив чтение, он снова обратился к Дубову.

— На очных ставках вы подтвердили свои показания. Что вы скажете судебному следствию?

— Я... подтверждаю.

— Добавьте что-нибудь?

— Нет.

— Вопросы к свидетелю будут? — спросил нас председатель.

Нет. Вопросов у нас не было.

Все свидетели отвечали в духе Дубова.

Нам предоставляется последнее слово.

Что же сказать? Просить о снисхождении? Нет, Нет...

Мы отказываемся от последнего слова.

Суд уходит на совещание. Ждем приговора.

Широко раскрываются двери и слушать приговор приглашаются все желающие. Ах, если бы их впустили раньше! Зал набивается битком. Я вижу бледные лица своих родных: они делают мне какие-то знаки, но понять я ничего не могу. Что-то щекочет горло. Я отворачиваюсь и смотрю на Сталина. Он все также насмешливо улыбается.

Нас осудят, это определено. Весь вопрос — на сколько?

Тишина, как на кладбище. И как при покойниках принято говорить шопотом, так и в зале суда перед приговором.

Вошли судьи. Все встали.

«...Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... специальная коллегия... рассмотрев дело... в закрытом судебном заседании... по обвинению... статье... пунктам... на основании...

приговорила:

«...Двум годам заключения... четырем годам... пяти...».

Плохо. Раз начали читать снизу, то есть от маленьких сроков к большим, следовательно, в конце — «расстрел». Это правило нам было известно еще в тюрьме с первых дней ареста.

«...расстрелу».

Секунду после окончания чтения приговора в зале царит тишина и сразу — шум, крики, плач... Я повертываюсь и смотрю на мать. Она прислонилась к стене и закрыла глаза. Отец держит ее за руки и что-то быстро говорит пепельными губами.

Расталкивая толпу, с наганами наголо, конвой ведет нас вниз, в камеру.

На стене, среди многочисленных надписей, нацарапанных на штукатурке, я выискиваю местечко почище, пишу гвоздем свою фамилию и против нее — «пять лет». Передаю гвоздь товарищам. Инженер Павлов, возле своей фамилии спокойно и размашисто выводит: «расстрел».

Его отделяют от нас и уводят в камеру смертников.

**
*

...Желтый свет коптилки слабо колеблется, причудливые тени ползают по брезенту крыши. Я лежу с открытыми глазами, разбитый, больной, опустошенный, среди умирающих людей, вдалеке от семьи и, вспоминая свою жизнь, думаю о том, как нелепо прожита она.

ВЕСНОЙ

Низенькая зырянская лошаденка, запряженная в земляную грабарку, лениво тащится по раскисшей весенней земле. Таежная дорога так узка, что сучья деревьев хлещут лошаденку по морде, цепляются за дугу. На грабарке лежат наши мешки с вещами и музыкальные инструменты — весь скарб лагерной «концертной бригады».

Увязая по-колону в грязи, согнувшись, я иду за грабаркой с гитарой подмышкой. За мной тянутся еще восемь человек «артистов». Все мы едем на шестой лагпункт давать концерт для заключенных.

Уже полгода, как я нахожусь в «концертной бригаде». За это время я научился играть на гитаре, петь и танцевать.

На грабарке, закутавшись в темный полушалок, лицом ко мне, сидит моя партнерша по танцам — двадцатилетняя Женя Малинина. На ее бледных щеках и лбу густо выступили веснушки, карие глаза с невыразимой тоской смотрят на тайгу, а тонкие, прозрачные руки судорожно прижимают платок к груди. Она очень больна. Временами она часто и густо кашляет, с надрывом, закатывая глаза.

— Что, Женя, плохо себя чувствуешь? — спрашиваю я.

— Плохо. Грудь болит, голова болит.

— Ну, ничего. Приедем на лагпункт, я скажу начальнику, что ты заболела и перенесем выступление на завтра, — утешаю я ее.

— Хорошо бы... — мечтает она.

Кое-где в лесу еще лежит рыхлый снег. Птицы весело перекликаются в кустах дикой малины, журчат ручьи в оврагах, хорошо пахнет сосной. Май месяц.

Весна...

В пять часов вечера мы приехали на шестой лагпункт. Начальник лагпункта Вольнов, маленький, седой человек, и воспитатель Кукушкин — старый вор — встретили нас с распростертыми объятиями.

— Вот это во-время! — говорил Вольнов, — ошупывая наши музыкальные инструменты тонкими, грязными пальцами.

— Мне очень надо развеселить заключенных, падает производительность труда... мало культурного обслуживания... совсем нас КВЧ забыло... Я уж своими средствами действую: вот воспитатель стенгазетку выпустил, лозунгов повешали, а для вашего брата-артиста только вчера закончили производством маленькую эстрадку на вольном воздухе...

— Не рано ли на воздухе? — спросил я, помогая Жене слезть с грабарки. — Холодно еще. Вы уж разрешите нам в бараке дать концерт.

— Ни-ни... — прогудел басом воспитатель Кукушкин. — А для ча же мы эстраду строили? Деньги затратило государство, значит, надо ей пользоваться.

Придя в конуру, отведенную нам в одном из общих барачков, мы хотели было расположиться на отдых, как вдруг пулей влетел Кукушкин и заорал:

— Скорее собирайтесь, артисты. Начальник лагпункта приказал через час начать концерт... Уже заключенные собираются возле эстрады... Я сейчас всех оповещу.

Он выбежал, и мы услышали, как он начал командовать в общем бараке:

— Граждане заключенные! Сейчас артисты будут давать для вас концерт. Все должны выйти из барачков

и смотреть на концерт, который будет происходить на вновь-построенной эстраде.

— Не надо нам концертов! — сказал кто-то из заключенных. — Мы намаялись на работе, дайте отдохнуть спокойно. Артисты, небось, тачек не возят... им что?

— Артисты такие же заключенные, как и вы, — спокойно возразил Кукушкин. — Да ведь они не отказываются сделать вам удовольствие, а вы, ослы, не хотите идти... Приказываю всем немедленно покинуть барак и идти культурно развлекаться... Без культурно-воспитательного дела вы не перевоспитаетесь...

Громко проклиная день и час, когда они попали в лагерь, ругая и нас — артистов, и воспитателя, и начальника, заключенные лениво стали выходить из барака.

Я разыскал суетливого начальника лагпункта и сообщил ему, что мы выступить не можем, ибо наша главная исполнительница серьезно заболела.

— Ерунда! — крикнул Вольнов. — Надо войти в положение моих заключенных. Они никаких удовольствий не видят. Кроме того, меня же будет греть начальство за то, что я не развлекаю культурно своих рабочих.

— Но завтра же мы дадим концерт, — пообещал я..

— Завтра вы еще один дадите, кроме сегодняшнего.

Я долго с ним спорил, доказывая, что нельзя больного человека заставлять работать, да еще на воздухе. Под конец спора Вольнов совсем рассердился и, зло сверкая маленькими глазками, крикнул:

— Хватит разговоров! Или будете выступать или всех вас посажу на ночь в холодный карцер! Не забывайте, что все вы тоже заключенные.

Я сообщил об этом своим товарищам. Женя пер-

вая стала готовиться к концерту. Решено было выступить.

Перед маленькой, грубой эстрадой, сделанной из неоструганных досок, собралось все население лагпункта. На табуретках, поставленных возле самой сцены, расселись «вершители судеб»: Вольнов, Кукушкин, прораб, коменданты, завхоз и повар.

Концерт наш начинался с матросского танца «Яблочко», исполняемого мною и Женей. Стоя за одеялами, заменявшими кулисы, в легких парусиновых костюмах, мы тесно прижались друг к другу, чтобы как-нибудь согреться. Тяжелое свинцовое небо низко нависло над нами, по нему быстро бежали темные облака, посылая на наши головы и плечи холодные, редкие капли весеннего дождя. Женя еле-еле держалась на ногах. На ее лбу, несмотря на холод, выступил мелким бисером пот, бескровные губы странно дрожали, а карие глаза блестели больным, лихорадочным блеском.

На эстраде утомительно-долго нес несусветную чушь, наш «конферансье» Пахач, попавший в лагерь, кстати сказать, за болтливость — он любил рассказывать антисоветские анекдоты.

— Я не могу... — прошептала Женя. — Я не могу стоять...

В этот момент раздались знакомые звуки баяна. Пошел наш номер. Женя, тряхнув головой, собрав последние силы, стремительно выбежала на эстраду. Я видел, как она добежала до противоположных кулис, повернулась и, раскинув руки, медленно пошла вокруг сцены, грациозно, как всегда, покачиваясь и улыбаясь своей светлой, милой улыбкой.

Женя была «молодым матросиком», я же выступал «кочегаром». Мой костюм и лицо были испачканы сажей, волосы взлохмачены, в руках я держал ведро.

Дождавшись, когда Женя обошла полный круг, я

взял с пола ведро и выскочил на сцену. Мое появление, как всегда, было встречено хохотом.

— Братишка! Давай! Жми! — кричали непосредственные зрители.

Эх, милая, да поцелуй разок . . .
Эх, яблочко, да золотой глазок,

запел я глупую песню.

— Давай! Жми! — орала публика.

. . . Эх, яблочко, да все облезлое,
Не посмотрит на меня да любезная . . .

Темп танца все ускорялся и ускорялся. Я видел довольные, расплывшиеся в улыбках лица Вольнова и Кукушкина, видел обращенный ко мне с тоской и мольбой взгляд Жени, и у меня появилось страстное желание запустить ведро в первый ряд зрителей. Но в эту минуту Женя упала, гулко стукнувшись головой о доски эстрады. Я подбежал к ней и наклонился.

Смех мгновенно стих.

Я поднял ее на руки и понес за кулисы.

— Чегой-то она? Эй! — кричали зрители.

Я остановился и сказал в наступившей тишине:

— Нельзя ей было танцевать. Она больная совсем.

С помощью баяниста я понес Женю в барак.

— Чего ж больную заставляете?

— Сердца у вас нет... сволочи!

— Расшиблась, наверно!

шумели заключенные, расходясь по баракам.

...Я сидел возле больной и смотрел на нее. Женя тяжело дышала, закрыв глаза. Плотно сжатые губы странно кривились. И понял я тогда, что не дожить ей до радостного дня, не дожить последних трех месяцев, что оставались ей до освобождения.

Понял я, что скоро еще одну мученицу примет в ледяные объятия чужая зырянская земля, и споют Жене сосны о небесном счастье, которого она на земле так и не увидела за свою короткую жизнь...

ПОБЕГ

1.

...Этот день на всю жизнь останется в моей памяти.

На выжженном бледновато-сером небе плавится солнце. Ни облачка. По тайге густо плывет лесной перегар — пьянящая голову смесь запахов трав, цветов, смолы. Уныло пересвистываются в кустах разомлевшие от жары синицы. По широкой просеке трассы там и тут видны согбенные фигурки людей с лопатами и тачками в руках. Залитые солнцем, янтарно желтеют песчаные срезы забоев.

Я лениво нагружаю тачку песком и искоса поглядываю на товарищей, ожидая условленного сигнала. Лопата валится из рук. «Убьют... не надо... не стоит» — мелькает мысль. Но сильнее и властнее этой мысли звучит другая — это даже не мысль, а лишь одно слово, огненное, пламенное слово: «свобода»...

Нас пять человек, готовых рискнуть жизнью за это пламенное слово: тридцатипятилетний инженер Фомин, осужденный на 7 лет за антисоветскую агитацию, рослый и сильный, чуть седеющий; бывший наборщик типографии «Правда» Иван Михайлович Крутиков, десятилетник, угрюмый и молчаливый, вечно тоскующий по жене и дочке, с которыми разлучил его жестокий приговор «спецколлекции»; уркаган Васька-Чуб, мелкий воришка и мелкий человек, циник, матершинник, отлично танцующий воровскую чечотку; двадцатисемилетний жулик-налетчик Цыган, высокий красивый па-

рень, сорви-голова, за плечами которого четыре рискованнейших побега из концлагерей; и я...

Все пять человек, Фомин, Цыган, Крутиков, Чуб и я, — все мы работаем рядом в одном «звене».

Последние приготовления. Вывалив землю из тачек в насыпь, прикатываем пустые тачки в забой и собираемся все вместе. Отстал Крутиков. Дожидаемся. Вот подошел и он.

Забой наш находится посреди бригады. На том и другом конце бригады угрюмо сидят на пеньках двое конвойных, положив на колени винтовки. Шагах в пяти от одного из них горит костер — для «прикурки». Забой на бугре, неглубокий, в половину человеческого роста, за бруствером — скат, поросший можжевельником и дикой смородиной, и сразу за кустами — темная стена тайги — наша надежда.

— Пора, Цыган... не томи... — вполголоса шепчет Фомин, — не томи... давай сигнал.

Он бледен, и я вижу как дрожат его руки.

На загорелых щеках Цыгана судорожно играют желваки. Карие миндалевидные глаза холодны и внимательны. Он все еще что-то прикидывает, соображает. Я знаю, что он не трус, но вижу, хорошо, ясно вижу, что и он сильно волнуется.

Справа сосредоточено копает землю молодой армянин Сафариан. Он посвящен в тайну, и дал согласие помочь нам, отказавшись однако наотрез участвовать в побеге. Он и бесконвойный возчик Митрич — единственные, кто знают о нашем предприятии. На Сафариане задача — отвлечь внимание хотя бы одного стрелка. Митрич взялся тайно отвезти на 86 пикет, на условленное место наши мешки с «вольной» одеждой и продовольствием. (Митрич развозил на телеге по трассе мотки с проволокой для новой линии телефона).

Цыган кашлянул. Сафариан поднял голову, не переставая орудовать лопатой. Цыган подмигнул ему, неловко и как-то чересчур быстро. Сафариан нетороп-

ливо свернул цыгарку и пошел к костру. Я понял, что сигнал к побегу подан.

— Следить... готовсь.... — отрывисто прошептал Цыган.

Лопата вывалилась из моих рук и звякнула о камень.

Нервы сдавали. Я ничего не соображал. Обернувшись на миг, я увидел, как Сафариан подошел к костру и услышал его спокойный вопрос, страшный в своей обыденности:

— Стрелок, разреши прикурить...

— Валяй...

Сафариан достал из костра уголек и, катая его в ладонях, встал во весь рост, заслонив нас спиной на какое-то время от глаз «стрелка». И в ту же секунду раздался чужой, с хрипотцой голос Цыгана:

— Пошел!..

Я еще видел, как Цыган, упершись руками о край забоя, легко и плавно первый перекинул свое тяжелое тело за бруствер. Потом я уже видел только то, что было прямо передо мной. Помню, что земля обломилась под моей правой рукой (надо было опереться дальше от края), и я чуть не упал. Взлетев на бруствер и шагнув с него вниз я споткнулся, не удержался и покатился через голову под яр, приминая траву и царапая колючками лицо. Тогда захлопали выстрелы. Один, другой, третий... И пошло, и пошло, и пошло!

В кусты я врезался почему-то спиной, опрокинулся навзничь, хапнул руками ветки и вылетел на крошечную полянку. Прямо у моих ног ползал Крутиков, как-то чудно царапая землю скрюченными пальцами.

— А-а-а... ава-а-а... — хрипел он.

Не понимая чего он медлит (позднее выяснилось, что его подстрелили), я прыгнул в ручей, выбежал на другой берег и запетлял, завертелся среди сосен и лиственниц в бешеном беге. Долго ли я так бежал — не помню. Бежал, придерживаясь, однако, одного на-

правления и ориентируясь по солнцу. Солнце было все время справа и чуть впереди меня. Так было условлено.

Бросившись в изнеможении под сосну я, как загнанный зверь, зарыл голову в сырой мох и все никак не мог отдышаться. Прижав руку к виску, почувствовал под пальцами короткие и сильные удары крови. Присел. Оглянулся.

— Свободен! Боже мой, свободен!

Было очень тихо. Чуть покачивали верхушками могучие сосны. На сухой лиственнице постукивал дятел, вертел головкой и очень миролюбиво посматривал на меня. И бешенная, дикая радость охватила меня. Как известно, арестанты больше всего завидуют птицам. Теперь же и я, и этот дятел были одинаково свободны. Его лес стал моим лесом. Надолго ли? Об этом не хотелось думать.

Пересыхало горло. Хотелось пить. Я поднялся и хотел было поискать болотца или ручейка, но где-то неподалеку захрустели ветки и отчетливо послышалось чье-то прерывистое дыхание. Я замер.

Из кустов вышел Фомин. Он шел быстро, часто смахивая со щеки кровь. Левый рукав рубашки был оторван и еле-еле держался на ниточке, обнажая плечо.

— Фомин!..

Он шарахнулся было в сторону, но узнав меня, порывисто подошел.

— Живы?

— Жив... Вы что — ранены? — осведомился я.

— Нет, поцарапался ветками... Где остальные?

— Не знаю... Сижу, жду сигнала Цыгана. У вас курить есть?

По нашим расчетам погоню охрана могла начать только через час — полтора. От места побега до лагеря было семь километров. Бросить бригаду конвойные не могли, следовательно, послали связного на лагпункт. Однако, терять нельзя было ни минуты. Фомин

заложил колечком пальцы в рот и тихонько свистнул. Прислушались. Свистнул еще раз. И вдруг улыбнулся.

— Вы чего? — удивился я.

— Как в детстве... — ответил он. — Посвист-то...

Вскоре откликнулся Цыган, а за ним Чуб. Не пришел только Крутиков. И только теперь мы поняли, что Крутикова подстрелили.

Посовещавшись, решили идти прямо на 86-й пикет. Трасса в этом районе тайги делала полудужье. Если идти напрямик через тайгу, то до 86 пикета было всего три километра, — все это тысячу раз пересчитывалось и проверялось в бессонные ночи.

На 86 пикете, в ямке, укрытые прошлогодними листьями лежали наши мешки, — Митрич не подвел. Сбросив казенную одежду, мы облачились в «вольную», добытую в свое время всякими правдами и неправдами. Лучше всех оказалась одежда Цыгана: добротные кожаные сапоги, синие брюки-галифе, клетчатая рубашка, серое кепи и короткая куртка из желтой кожи.

— Вот как Мамай в поход собрался! — хвастался Цыган. — Сам товарищ Сталин такой куртки сроду не носил.

У него в мешке была подробная географическая карта Коми АССР и бусоль, — все это Цыган украл у вольнонаемного топографа-пьянчужки Кислова. Решено было идти первые 100 верст тайгой на север, а потом свернуть на восток, на Урал. Предложил это Фомин. Предложение было правильное, построенное на «невероятности»: кто же бежит с севера на... север? Все беглецы ловились на том, что бежали прямо на юг, (чаще всего) или на восток, или на запад.

Цыган забросал листьями яму с нашей былой арестантской одеждой, достал из мешка бутылку с керосином и смазал всем нам поочередно подметки на ботинках.

— Это зачем? — поинтересовался Фомин.

— Да ведь с овчарками за нами двинут, — пояснил Цыган. — А по керосиньему духу собака ни в жисть не пойдет... Ты молчи, это дело испробованное.

Весь день, до поздней ночи шли мы на север. Раза два спускались в ручьи и шагали по щиколотку в воде, замечая следы. Пробирались чащобами, кустарниками, болотами. Шли из последних сил, в кровь натерли ноги плохо подогнутой обувью. Такой длительный переход для истощенных физически людей был невыносимо тяжел.

— Я не могу больше, братва, не могу... передохнем, — хныкал слабосильный Чуб.

— Молчи... — приказывал Цыган. — У тебя сколько сроку?

— Десять лет... Ну?

— Расчет простой, — пояснил Цыган, — пять верст прошел — год тюрьмы отсидел. Потерпи... Сил у него нет! А еще — вор! Смотри на товарища Фомина — прет человек! А ведь за политику сидел...

«Сидел» — мысленно, как эхо, повторил я, — «в прошедшем времени»... И опять я ощутил чувство безграничной радости.

Однако силы в конец истощались. Дальше мы идти не могли. Хуже всех чувствовал себя Чуб и я.

Взошла круглая полная луна, залила тайгу призрачным серебристым сиянием, от стволов сосен легли наземь мягкие зеленые тени, вызвездило. Из чащи молодого ельника шумно взлетел глухарь. Перейдя овражек, мы вышли на небольшую полянку и замерли от удивления: на полянке стоял большой стог сена. Цыган осторожно обошел его вокруг, хрустя торчмя стоявшими бобыльями покошенной травы. Фомин достал карту, бусоль, посмотрел на звезды и сверил по карте. Мы напряженно молчали, округив его.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Цыган.

— А вот что... — хмурясь, ответил Фомин: —

километрах в трех от нас зырянская¹ деревня Гай-Ю. Это последняя деревня. Следующая — через 70 километров. Знаете, сколько мы отмахали? Сорок километров.

Решили заночевать в сене. Чуб спустился в овраг, принес в котелках холодной воды и хотел было развести костер, но Цыган так гаркнул на него, что Чуб чуть не опрокинул со страха котелки. Закусили всухомятку, запили водой. Закурили. Настроение поднялось.

— Вот когда мы заплутаем в тайге и жрать нам будет нечего, то одного из нас зарежем... — пообещал Цыган. — Тебя Чуб, первого. Только тощ ты больно, одни кости..

— Ну, Цыган, что ж ты будешь делать, если побег наш удастся? — спросил Фомин.

— Опять грабить буду, — коротко ответил тот, с наслаждением опрокидываясь на сено и вытягиваясь. — А вот что вы со студентом, черти-политики, делать будете?

— Не знаю... — нерешительно ответил я. — Домой нельзя, можно подвести родных. Не знаю. Да достанем ли еще «липу»?²

— «Липу» я вам, черти-политики, устрою, — пообещал Цыган. — Доберемся до Казани, там у меня :ореша есть. Сделают.

— А я за границу... — сообщил Фомин.

— В Польшу, что ль? — поинтересовался Цыган.

— Попробую в Польшу, — ответил Фомин.

— Поляки выдают.

— Ну, в Прибалтику...

— Выдадут... Финляндия, говорят, тоже выдавать

¹ Южную часть Коми АССР (районы рек Вычегды, Выми, Печоры) населяют «зыряне» — народ финского племени. После революции 1917 года большевики переименовали их в «коми», но новое название не прижилось: попрежнему их зовут зырянами.

² «Липа» — фальшивые документы на языке советских заключенных.

стала... — веско заметил Цыган и рассмеялся. — А здорово вам товарищ Сталин хвосты прикрутил! Убегать — и то некуда! Вот что, черти-политики: забивайтесь вы куда-нибудь с «липой» в Среднюю Азию и сидите там, войны дожидайтесь. Говорят, война скоро будет с немцами. Товарищу Сталину дадут по шее, а заключенных освободят.

— Эх, Цыган... — вздохнул Фомин. — На войну не только одни заключенные надеются, а вся Россия.

— А, промежду прочим, я злобы против товарища Сталина никакой не имею, — весело заметил Цыган. — Мы, жулики, в местах заключения первые люди, нам доверие выказывают, а вы хоть и грамотные, а все-таки на последнем счету. И сроки политическим дают бóльшие, чем нам, и судят вас строже.

— Ну, вы же «социально-близкий элемент»... — шутливо заметил Фомин.

— Во-во! — охотно согласился Цыган, не поняв иронии.

— ...Достоевский еще семьдесят пять лет тому назад указал на связь интернациональной революции с уголовным миром, — добавил я, обращаясь к Фомину.

— Видал! — восхищенно воскликнул Цыган и даже слегка прихлопнул в ладоши.

Отдышавшийся Чуб вдруг подал голос:

— А жалко, братва, Крутикова. Человек пожилой, к семье рвался. И вот — девять грамм³ получил... А, может, и еще кто из нас получит. А?...

Наступило молчание. Настроение как-то сразу упало. В самом деле, ведь мы только еще начинали свой скорбный путь беглецов-зверей, по следу которых идут охотники с пятиконечными звездами на фуражках. Молча стали укладываться спать.

Алюминевая луна висела прямо над нами; на острых верхушках деревьев торчали крупные голубые

³ Вес советской ружейной пули.

звезды, как на рождественских елках. Где-то неподалеку жутко и глухо ухал филин и, словно вторя ему, плакал в овраге песец. Цыган вздохнул.

— Нехорошо...

— Что — нехорошо? — не понял я.

— Нехорошо, что мы так близко от зырянской деревни... — пояснил он. — В каждой деревне застава охраны, а на все заставы уже сообщили по телефону о побеге. Как бы вокруг деревень шарить не стали... еще собак пустят.

— Им и в голову не придет, что мы на север двинули, — сонно пробормотал Фомин. — Спи, Цыган.

Перед рассветом я проснулся от странного ощущения, которое впоследствии часто припоминал и никогда не мог понять в чем оно, это необыкновенное ощущение, выразалось. Мне что-то снилось, кажется Москва, Кривоярбатский переулок, и я, школьник, с ранцем за спиной, огибаю угол дома, подхожу к воротам школы. Но, странно, под ногами не тротуар, а прошлогодние листья, жалкие, гниющие, дымчато-серый мох. Я понимаю, что это сон, очень хорошо понимаю, и понимаю, что надо немедленно, сейчас же стряхнуть этот сон, иначе произойдет что-то страшное, непоправимое. И невероятным усилием сознания я прогоняю этот сон и разлепляю тяжелые, как олово, веки.

Луны нет. Зябко. Из оврага студнем всплзает на бугорок предутренний туман. Он обволакивает сосны, приникает к земле. Еще сумрачно. И необыкновенно тихо. Я поворачиваюсь и вижу, что Цыган тоже проснулся, сидит, упираясь руками позади себя, и напряженно прислушивается. Рот его слегка полуоткрыт, красивые глаза чуть прищурены. Заметив меня, он прикладывает к губам пальцы — тише! Справа и слева от меня беззвучно спят мертвым сном уставших Фомин и Чуб.

И вдруг отчетливо, ясно я слышу хруст веток под сапогами, и чувствую, как замирает, холодеет сердце.

И на моих глазах густо, с поразительной быстротой, бледнеет Цыган. И чем дольше я вслушиваюсь в хруст веток, тем все непонятнее откуда он идет; он слышится отовсюду: и впереди, и сзади, и слева, и справа...

— Окружают... — еле слышно шепнул Цыган, не двигаясь.

И — новый звук: осторожное, нервное поскуливание, совсем где-то рядом.

— С собаками... пропали... — выдохнул Цыган и резко толкнул спящих Фомина и Ваську. Те разом взметнулись. Васька забормотал что-то, но Цыган размахисто закрыл ему рот ладонью. В одну секунду и Фомин и Васька поняли все.

— Конец... — прошептал Фомин, взглядывая на меня. И по его взгляду я понял, что наступил действительно конец.

Цыган встал на четвереньки, оглянулся. Выхода не было. Оставалась одна ничтожная, нелепая надежда — и Цыган коротко отдал приказ:

— В стог...

Задыхаясь, разбрасывая дрожащими руками сено, мы полезли в стог, наспех загоразживаясь, маскируясь, стараясь пролезть как можно глубже. Через минуту я услышал ровный мягкий стук чьих-то лап, и бешеный, оглушительный лай разорвал напряженную тишину. В этот лай тотчас же вплелись громкие ликующие голоса людей и хлесткое клацанье винтовочных затворов.

— А ну, вылезай, сволочь поганая!

Мы не шелохнулись.

— Скидывай сено, вам говорят!

Мы еще медлили.

— Перестреляем! А ну — долго с вами?.. Иван, пощупай их штычком, штычком пощупай... Дай-ка! Э-э-эх!..

Лежавший рядом со мной Чуб дико взвизгнул и, разбрасывая сено, выскочил на волю, как пробка из бутылки.

— Вылезай, сволочь!.. У-у-у!..

Хлопнул выстрел. Я выскочил вслед за Васькой. Человек десять вооруженных охранников топтались возле стога. Чуб катался по земле, отбиваясь от наседавших на него клыкастых немецких овчарок. Едва я вылез по пояс из сена, как две собаки бросились на меня, сшибли с ног и, молча и злобно, стали в клочья рвать на мне одежду. Одна из них, особенно рьяная, все наровила вцепиться в лицо и один раз ей это удалось — разорвала бровь; я зажал лицо руками и ткнулся в маленькую ямку.

— Гады... стреляйте... — хрипел Чуб. — Чего псами травите! Стреляйте, гады...

Яря собак, охранники стреляли в воздух, понукали их матерщиной. Все слилось в дикий, хаотический рев. Вдруг я почувствовал, что собаки бросили меня. Я чуть-чуть повернул голову, приоткрыл руку и, еле разлепляя залитые кровью глаза, взглянул...

Овчарки, трепавшие меня, устремились на свежую жертву: из стога во весь рост вставал Цыган. Собаки попробовали было сбить его с ног, но Цыган устоял. Тогда собаки прыгнули ему на плечи. Цыган стряхнул их и изо всей силы пнул кожаным сапогом под пах ближнюю к нему овчарку. Собака взвизгнула и юлой завертелась у ног шупленького белобрысого охранника.

— Ты!.. Собак бить! — заорал охранник, багровея и суетливо загоняя в магазин винтовки свежую обойму. — Да я... да я...

Он вскинул винтовку к плечу и выстрелил.

Цыган упал на одно колено, схватившись за горло. Из-под пальцев хлынула черная кровь, заливая клетчатую рубашку. Собаки виновато помахивая хвостами, отбежали в сторону. И как-то сразу стихло. Цыган

рывком повернул голову и, прикусывая посиневшую губу, сипло и громко крикнул через плечо:

— Добивай скорее, мать твою...

И грубое слово слетело с его окровавленного языка. Охранник трясущимися руками вторично вскинул винтовку... Я закрыл глаза.

Часа три, со связанными за спиной руками, лежали мы на сыром мху: Чуб, Фомин и я. Покойник лежал там, где его настигла смерть — под стогом. Охранники развели костер, позавтракали, накормили собак, покурили. Потом наспех сделали из жердей носилки, развязали нам руки, положили труп Цыгана на носилки и приказали нам нести их.

2.

Я часто думаю: зачем, все-таки, я решился на побег из концлагеря? Шансы на удачу были ничтожными. Убежать из Севжелдорлаг'а было чрезвычайно трудно. Бежать вдоль трассы строящейся железной дороги немыслимо: по трассе раскиданы бесчисленные лагпункты и заставы охраны. Бежать в других направлениях рискованно из-за непроходимых болот и тайги — молчаливых, но грозных охранников концлагеря. Сколько раз приходилось нам во время работы в тайге наткнуться на скелеты беглецов. На поддержку жителей редких зырянских деревень, отстоящих зачастую на 75-100 км. друг от друга, не приходилось рассчитывать, т. к. в каждой охотничьей деревне красовалось объявление, что за каждого пойманного беглеца выдается награда в размере 40 рублей. Бедность же зырянского населения — ужасающая, и иному зырянину-охотнику куда выгоднее подстрелить беглеца, чем белку, т. к. награда выдается в том же размере за мертвого беглеца, что и за живого (за 1 шкурку белки охотник получает от Заготпушнины 65 копеек). Кроме того, этим благородным занятием — ловлей беглецов

из концлагеря — с азартом спортсменов занимались молодые комсомольцы-активисты.

Надо сказать правду: жители зырянских деревень лютой ненавистью ненавидели концлагерников, а концлагерники — жителей зырянских деревень. Ненависть с той и с другой стороны была обоюдная, и никакой пощады не было друг другу. Заключение не могли простить вольному люду того, что вольный люд ловит их, выдает и стреляет, а вольный люд не прощал беглецам грабежей, сопряженных иногда с убийствами. Само собой разумеется, что грабежами занимались не политические заключенные, а уголовные; но зыряне, народ темный и дикий, не делали различия между политическими и уголовными — в каждом заключенном они видели лишь врага.

Схватки зырян с уголовниками доходили до массовых столкновений. В 1937 году жители деревни Покча участвовали в грандиозной облаве на большую группу беглецов (ушла целая рабочая бригада политических и уголовных, около 30 человек). Все беглецы были пойманы, благодаря помощи зырян. Шесть человек были застрелены. Через два дня, разоружив конвой, убежала группа в 15 человек исключительно уголовников и отомстила за товарищей: до тла сожгла деревню Покча.

Таким образом, создавался чудовищный антагонизм между зырянским населением и заключенными. Этот антагонизм поддерживали и агенты НКВД, разжигая его тем или иным способом, вплоть до провокаций: убивали, например, в тайге зырянина-охотника и объявляли населению, что убит он беглецами из концлагеря.

Иное положение на юге Коми АССР. Начиная от реки Вычегды, там уже русское население. Там нет охотничьих сел, население занимается хлебопашеством. В 1929-30 г.г. многие зажиточные крестьяне были раскулачены советской властью, арестованы и сосланы в

концлагеря и ссылки. Там почти повсеместное недовольство режимом, и там беглец мог еще рассчитывать на некоторую поддержку со стороны населения. Но какую? На кусок хлеба, на тарелку супа, на старые ботинки или штаны — не больше. На ночлег уже рассчитывать нельзя. Вряд ли кто пустит переночевать, ибо смертельно боится агентуры НКВД. А вдруг кто-либо донесет, что в таком-то доме ночевал беглец из концлагеря!

Нет, убежать из советского концлагеря трудно. Трудность побега, собственно говоря, состоит не в самом факте побега — это, в общем, не так уж сложно, а в легализации жизни после побега. Нельзя посадить всю страну в тюрьму, но сделать из страны тюрьму можно. И Сталин сделал это. За каждым человеком, в любой деревне, в любом городе, в любом конце Сов. Союза ведется тщательное, долготетнее наблюдение. И если где-либо появляется новый человек, то в тот же час начинается выяснение: кто он? откуда? зачем приехал? чем занимается? и т. д. и т. п. На руках у каждого взрослого человека должна быть куча документов. Как минимум надо иметь: паспорт, военный билет (у мужчин), справку с места работы или студенческий билет (для студентов), трудовую книжку и несколько характеристик. Один документ без другого ничего не стоит. Надо иметь все документы.

Допустим, что беглецу из концлагеря удалось добраться до какого-нибудь города. Допустим, что он достал фальшивые документы (что уже почти невозможно) паспорт, военный билет, трудовую книжку и т. д. Допустим, что ему удалось в какой-нибудь квартире снять комнату. Хозяин квартиры в тот же день, как только принял жильца, должен уведомить об этом управляющего домом. Управляющий домом — обычно агент НКВД. Он смотрит не только за порядком в доме, но и за жильцами: кто чем занимается, с кем ведет знакомства и т. д. При аресте кого-нибудь из

жильцов он, как правило, присутствует тут же в качестве понятого. Управляющий домом вместе с новым жильцом идет в милицию, чтобы «прописать» жильца, т. е. сделать отметку, что такой-то будет жить в таком-то доме. В милиции заполняется подробная анкета. На вопрос «откуда приехали?» беглец, допустим, называет вымышленное место. В тот же день милиция письменно запрашивает то отделение милиции, в ведении которого находится это вымышленное место. Если приходит краткий ответ «такой-то у нас никогда не проживал» — следует немедленный арест беглеца. Таким образом, ни в городе, ни — тем более в деревне, беглецу невозможно укрыться.

Побег за границу чреват серьезными последствиями для родственников убежавшего. Беглец объявляется «изменником родины» (статья 58-я пункт 1-й Уголовного Кодекса) и наказываются его ближайшие родственники — отец, мать, жена, брат, сестра. Их ждет концлагерь.

Из этого заколдованного круга нет выхода.

3.

Вечер. Винно-красное солнце падает на острые пики елей. Стелется ветерок.

Оборванные, с запекшейся кровью на лицах и руках мы стоим у ворот лагпункта. У наших ног лежат два трупа: Крутиков — на боку, Цыган — на спине. Открытые глаза Цыгана безучастно-стеклянно смотрят в бесконечную высь. Толпятся возле нас охранники и просто любопытные из вольнонаемных служащих. Мимо нас, в ворота лагпункта проходят одна за другой рабочие бригады заключенных, и каждую из них останавливает на несколько минут начальник лагпункта Котов. Показывая на нас, говорит:

— Так будет со всеми, кто попробует бежать.

И грозит кулаком:

— Предупреждаю!

Заключенные со страхом и жалостью смотрят на нас и, понутив головы, проходят в ворота.

Мне почему-то кажется, что Цыган встанет сейчас во весь свой огромный рост, схватит Котова за горло, задушит его и крикнет на весь мир пламенное слово «свобода»!..

Поздно вечером нас — Фомина, Чуба и меня — отвели на лагпункт и заперли в карцер: маленькую бревенчатую избушку, наполовину врытую в землю. Прогромыхал за нашей спиной засов и щелкнул ключ — снова тюрьма!

Карцер был почти пуст. Возле слабо мерцавшей коптилки сидел на нарах какой-то старичок и читал потрепанное Евангелие, да в углу кто-то спал, укрывшись с головой бушлатом.

— Здорово, папаша! — сказал Чуб, хромающей походкой подходя к старику — у него сильно болела ягодица, проколатая штыком.

— Здравствуйте, — тихо ответил старик.

— Нет ли хлеба? — осведомился Чуб.

— Нету милый.

Мы повалились на нары. Фомин стал раскручивать окровавленную повязку на голове. Чуб, сняв штаны, осматривал рану на ягодице и вполголоса напевал:

Мы бежали,
Нас поймали
Серые собаки...
Рвали руки,
Рвали ноги
И штаны на с...е.

Видимо, он был поэт.

— За что вас посадили? — поинтересовался старик.

— За побег, — ответил за всех Чуб. — А ты,

папаша, за что на старости лет угодил в это святое место?

— Не хочу на слуг анафемы работать. Я священник, — пояснил старик.

— А-а... филон⁴! — знающе кивнул головой Чуб и снова запел:

От работы прячемся под нары,
Не один, а три-четыре пары.
Коль нарядчик нас поймает —
На работу выгоняет.
Ой, зачем нас мама родила!..

Несмотря на усталость, мы долго не могли уснуть: думали-гадали, что будет с нами. За побег полагается 3 года прибавки к сроку или заключение в штрафной изолятор от 6 месяцев до 1 года, смотря по характеру побега.

Нашему «делу» начальство дало быстрый ход. Уже на четвертый день приехал из Управления Лагеря особоуполномоченный 3 отдела младший лейтенант Государственной Безопасности НКВД Николай Ступин. Фомина он допрашивал два часа с лишним. Вторым вызвал меня.

Допрос происходил в доме начальника лагпункта. В просторной светлой комнате, за обеденным столом сидел довольно красивый, молодой человек в новенькой, с иголки, форме. Выпроводив конвоира за дверь, он предложил мне стул и папиросу. После обычных вопросов о фамилии, годе и месте рождения, он прошелся по комнате, поскрипывая портупеей, потом стал против меня, провел рукой по волосам и как-то задумчиво спросил:

— Значит, удрал?

— Удрал... — чистосердечно признался я, глядя в его голубые, по-девичьи, глаза.

— Что ж ты так?

⁴ На лагерном языке — лентяй.

— Да вот так...

— Ну, а если б пристрелили?

Я промолчал.

— Цыгана-то ведь убили. И Крутикова тоже, — сообщил он.

— Я знаю.

Чуть улыбнувшись розовыми губами, он сокрушенно покачал головой.

— Ну, и дурак же ты... Зачем убежал?

— Тяжело было... — вздохнул я.

— Побег, это — не выход, — сурово сказал он.

— Раз попался в лагерь — сиди, терпи, а время придет — освободят. Мать у тебя есть?

— Есть.

— И отец?

— И отец.

Он сел за стол и стал перебирать какие-то бумаги. Было в нем что-то детское, располагающее, человеческое, что редко бывает у следователей НКВД.

— А сколько вам лет? — спросил я, набравшись храбрости: заключенные следователям вопросов не задают. Он охотно ответил:

— Двадцать пять. На три года старше тебя... Слушай, Москва красивый город? — вдруг спросил он в свою очередь.

— Для кого — как. Для меня — красивый.

— А я, знаешь, еще никогда не был в Москве, — огорченно сообщил он. — Вот осенью отпуск получу и поеду. Надо посмотреть... Да, а кто был инициатором вашего побега?

— Цыган... — ответил я. Так было условлено между нами — вали все на мертвого.

Следователь улыбнулся и лукаво подмигнул мне:

— Ой, врешь! Фомин — вот кто! Он и карту достал, и бусоль.

— Нет Цыган... — настаивал я.

— Ну, чорт с тобой! — махнул он рукой и при-

нялся что-то записывать в протокол допроса. — Цыган так Цыган!

Первый раз в жизни я видел такого симпатичного следователя. Я вспомнил Лубянскую тюрьму, первые дни допросов, вспомнил, как рукояткой нагана бил меня по голове и по лицу следователь — как не похож он был на этого славного парня! Было ясно: или молодой лейтенант был еще очень неопытен в делах или просто симпатизировал мне, а, быть может, и то и другое вместе.

Задав еще несколько вопросов, относящихся к побегу, следователь снова вернулся к теме о Москве и долго, подробно расспрашивал меня о ней.

— А скучно здесь, в тайге, — заключил он, потягиваясь.

— Вам-то что! А вот нам, заключенным...

Он строго посмотрел на меня глазами запрещающая продолжать беседу в этом тоне. В дверь постучали.

— Кто еще там? — недовольно осведомился Ступин.

Из-за косяка двери показалась красная физиономия Котова.

— Товарищ младший лейтенант, разрешите войти?

— Входите.

Котов вошел, молодецки оправил у пояса гимнастерку.

— Допрашиваете? — кивнул он головой на меня. — Стрелять их надо, как собак...

— В чем дело? — сухо перебил его следователь.

Котов подобострастно улыбнулся и с баса мгновенно перешел на тенор. Я прямо остолбенел: не верилось, что у нашего грозного начальника прорезался такой тончайший тенорок.

— Обед готов, товарищ младший лейтенант — доложил Котов. — На первое суп с печенкой, на второе — рябчики. Я специально стрелка послал в тайгу... шесть штучек убил...

Я глотнул слюну, как-то вдруг наполнившую мой рот.

— Хорошо. Идите, — обрезал его Ступин, а когда Котов был уже за дверью, громко крикнул ему вдогонку: — Да, вот еще что! Распорядитесь, чтобы беглецов накормили! Двойную порцию!

— Есть!

Следователь долго сидел молча, насупившись, бессмысленно чертя пером по листу бумаги. В коридоре громко высморкался часовой. Ступин встал и, поправляя кобуру нагана, тихо сообщил:

— Допрос окончен.

Я встал тоже и спросил:

— Сколько же мне... добавят к сроку?

— А убежать больше не будешь? — прищурился глаз, спросил он.

— Нет.

— Даешь слово, что не будешь?

Поколебавшись, я твердо ответил:

— Даю.

— Ну, тогда хватит с тебя штрафного изолятора. Месяцев шесть получишь... Конвой, возьмите заключенного!

.....

Через десять дней нам объявили приговор: Фомин получил три года добавочных к своим семи; Чуб и я приговаривались к заключению в штрафной изолятор на шесть месяцев. Следователь сдержал свое обещание.

Сдержу ли я свое?

СТОШЕСТИДЕСЯТЫЙ ПИКЕТ

I

Тайга, тайга, тайга...

Узенькая тропинка, пробитая ногами изыскателей, идет вдоль пикетов будущей железной дороги. Кругом чахлые сосны и зеленовато-серый мох.

Я смотрю на увязающие по щиколотку в болотной воде кожаные сапоги моего переднего конвоира и стараюсь ступать по его следам. Иногда он проваливается в трясину до колен, снимает с плеча винтовку и, опираясь на нее, как на палку, вытаскивает по очереди ноги. За ним проваливаюсь я, а за мной — второй конвоир, угрюмый и молчаливый зырянин, ни на минуту не выпускающий изо рта трубки.

Ноги мои, обутые в берестяные лапти, нестерпимо болят; между пальцами появились ранки от ржавой болотной воды. Через каждые 100 метров встречается на тропинке колышек с номером на затёсе. Это — пикеты, пунктир будущей железной дороги. Здесь еще не начинались работы по отсыпке полотна. Не прорублена даже и просека. Наша конечная цель — 160 пикет. На ближайшем колышке цифра 78, значит осталось 82 пикета или восемь километров пути.

Что ждет меня впереди? Что?

Всех нас разбросали по разным местам. Фомина отправили по этапу за полярный круг на Воркуту, на угольные шахты. Ваську-Чуба — в штрафной изолятор «Гора-Крутая», для меня начальство почему-то выбра-

ло изолятор «Шестидесятый пикет», о котором среди заключенных много ходило страшных слухов.

На пригорке садимся отдохнуть. Здесь совсем сухо. Я снимаю лапти, разматываю мокрые портянки и осматриваю ноги. Маленькие изверги — комары не дают ни секунды покоя. Конвоиры развалились на траве. Зырянин, раскуривая трубку, лениво осведомляется:

— За что сидишь?

— Не знаю — отвечаю я.

Он рассмеялся. Видно, что не верит мне.

— А по какой статье?

— Пятьдесят восемь.

— А-а-а...

Конвоир явно разочарован, ему интересно было бы услышать рассказ об ограблении или убийстве. А то просто контрреволюция! Скучно!

Он зевнул и повалился на спину. Другой конвоир, молодой курносый парень, поглаживая положенную на колени винтовку, спросил:

— Сколько ж тебе дали?

— Пять лет.

Он помолчал и через некоторое время снова спросил:

— Небось, в городе жил? Учился?

— Да, в Москве... Студент я.

Он посмотрел на мои ноги и посоветовал:

— Ты портянку плохо завертываешь... Под низ сначала пропускай, а то ногу натрешь... За что ж тебя в изолятор направляют?

— За побег.

— Дойдешь ты в изоляторе.

— Быть может.

— Подымайся! — скомандовал зырянин.

И опять — вода под ногами, чавканье сапог, комары и тайга, тайга, тайга.

Часам к пяти вечера мы перешли речку Даманик и

стали подниматься в гору. Стали попадаться лиственницы, толстые в два-три обхвата. Пошел мелкий, теплый дождь.

Наконец, показался изолятор. Мы подошли к забору, сделанному из березовых и сосновых жердей, поставленных вертикально. По забору натянута колючая проволока. Перед забором, метрах в пяти — опять проволока, спутанная в комья. В глубине видны дырявые крыши больших брезентовых палаток. По углам изолятора деревянные вышки, на вышках — часовые. Сбоку изолятора, под горой, разбросано несколько домиков: там, очевидно, живет охрана.

Щуплый, прыщеватый вахтер долго вертит в руках мой формуляр, поданный ему в пакете конвоем и, оттопыривая губы, читает по складам:

— Статья пи-исят восьмая... Контра? Так, дальше! Наказание по индексу б5... Ага, беглец! Ну, теперь узнаешь настоящий лагерь! Мы тебя бегать отучим!

Обыскали, отняли последние десять рублей и втолкнули через маленькую дверь в «зону».

Возле палаток бродили, лежали, сидели серые грязные тени-люди. Ко мне сразу подбежало человек шесть. Полуголые, с пепельными лицами, с голодными провалившимися глазами, с какими-то страшными язвами на теле — словно прокаженные. Они подхватили меня под руки и поволокли в ближайшую палатку. По лицам и жаргону я сразу догадался, что это «урки».

— Деньги есть? — быстро спросил один из них, как только мы очутились в палатке.

— Нет.

— Раздевайся!

По старым встречам с «урками» я знал, что сопротивляться в таких случаях не только бессмысленно, но и опасно. Я видел, однажды, как бритвой полоснули по глазам человека, оказавшего сопротивление «уркам». Заодно уж вспомнил и «воспитателя» Гришку-Филона, отрезавшего женщине нос. Я молча стал раздеваться.

Взяли все: бушлат, шапку, рубашку, штаны и мешочек с куском хлеба, ложкой и кружкой. Остались на мне лишь старые, рваные кальсоны. Кто-то сильно ударил меня в спину и я, отлетев в сторону, упал на сырой притоптанный мох. Пола в палатке не было.

Поднявшись и потирая ушибленное место, я огляделся.

В углу кто-то топором рубил нижние нары. Вообще, нижних нар почти не было: видимо, арестанты давно уже топили ими импровизированную печку — железную бочку из-под керосина. Верхние нары были в полном порядке. Там сидели «урки» и играли в карты. Курчавый, черномазый паренек, свесив голову пристально разглядывал меня и гнусаво тянул:

Пил я воду, пил холодну,
Пил — не напивался.
Любил жулик проститутку,
Ею любовался.

II

Наступили черные, жуткие дни.

Все, что мне пришлось перенести в Лубянской тюрьме, в Бутырской, на пересыльном лагпункте, в лагере — все это бледнело перед штрафным изолятором «Шестидесятый пикет». Здесь уже не было людей. Здесь были звери. Звери заключенные, звери — энкаведисты. Здесь не было законов или правил; заключенные стремились только к одному — выжить; энкаведисты стремились усилить и без того невыносимый режим.

Для нас, политических каторжан, шансов на «выжить» было несравненно меньше, чем для уголовников. Проверенным способом сократить нашу жизнь у молодчиков из НКВД был метод смешения нас с уголовными. Нас помещали в один барак, в одну палатку, в одну камеру с ними. В большинстве своем «урки» не

переносили нас. На каком-то нелепом основании они считали, что мы причина их несчастий. «Из-за вас, контриков, сидим мы по лагерям и тюрьмам» — часто говорили они. Эту мысль, видимо, подали им и поддерживали в них энкаведисты. И тяжесть пребывания в лагерях усугублялась издевательствами над нами «социально-близкого элемента».

День на «Стошестидесятом пикете» начинался с раздачи хлеба, штрафной паек — 300 граммов в день. В трех огромных палатках нас было шестьсот человек, приблизительно по двести человек в палатке. Цифра эта колебалась от 500 до 700 в зависимости от того, сколько умирало и сколько прибывало новых арестантов.

В шесть часов утра открывалось маленькое окошечко «вахты», и бригадиры (исключительно из жуликов) получали каждый на свою бригаду, состоящую из 20-30 человек, черный хлеб. Корзинка с пайками вносилась в палатку, и начиналось что-то дикое. «Урки» с бригадирами во главе забирали весь хлеб себе, залезали на верхние нары и мгновенно съедали его. Шатающиеся от слабости «доходяги», люди, которым оставалось, может быть, всего несколько дней жизни, тянули худые, бессильные, обтянутые грязной коричневой кожей, руки и умоляли бросить им хоть крошки. Из ввалившихся блестящих глаз катились слезы. Это плакали взрослые мужчины. Они карабкались на нары, но жулики пинками сбрасывали их вниз.

После раздачи хлеба, у «вахты» собираются все не получившие пайков, и часами разносятся по тайге жуткие вопли:

— Хлеба! Мы не получили хлеба! Хлеба! Хлеба-а-а!

Появляется дежурный комендант и, стреляя из нагана в воздух или под ноги заключенным, разгоняет толпу.

— Хлеба захотели? А — пулю?

Охрана на «Стошестидесятом пикете» состояла из

зырян и отбывших свой срок наказания «урок». Это были «перевоспитанные» жулики, «перековавшиеся», ставшие по мнению НКВД «людьми». Работа охранника легкая, оплата высокая, квалификации не требуется никакой, если раньше за убийство приходилось сидеть в тюрьме, то теперь убивай сколько хочешь — никто слова не скажет, могут даже и похвалить. И что характерно: эти люди, на себе испытавшие всю тяжесть жизни советского каторжника, оказывались самыми жестокими охранниками.

На работу из изолятора не гоняли. Пробовали, но ничего не выходило. Ни один заключенный не хотел идти: за отказ от работы наказывать уже было нечем, придумать худшее наказание, чем изолятор — невозможно, сажать некуда, поэтому отказ от работы ничем не грозил. Да, наконец, и не было сил работать.

Днем арестанты, кто мог выходить или выползать из палаток, лежали на земле, били вшей и дожидались обеда. В двенадцать часов снова открывалось окошечко, высовывалась кирпичная рожа повара и раздавался его гундосый голос:

— Баланда!

Арестанты стремглав бросались к вахте. Получали обед — поллитра «затирухи» (мука с водой) или кусок вонючей трески. Посуду — миску, котелок, консервную банку — имели немногие. Те же, у кого не было посуды, брали баланду в самодельные берестяные лубки, в кое-как выдолбленные обрубки деревьев, а кто и просто в шапки. «Урки» имели несколько ведер, получали баланду сообща, потом делили меж собой.

В первые два дня мне не удалось получить ни хлеба, ни баланды. Почти голый, в одних кальсонах, я замерзал ночами. Спал днем, а ночью ходил из конца в конец палатки, сидел на корточках в месиве человеческих тел у печки, в которой тлели доски, сорванные с нар. С рассветом я выбирался из палатки и грелся на солнышке.

К полудню третьего дня моего пребывания в изоляторе, я обратил внимание на двух мужчин, лежавших на земле по правую сторону печки. Один, старик лет шестидесяти, с черной — «лопатою» — бородой, трогательно ухаживал за другим, видимо, очень больным, молодым узбеком. Старик мне как-то сразу понравился. Выследив, когда старик ушел — он уселся под единственное дерево и стал делать ложку из куска доски — я повалился на его рваный бушлат рядом с узбеком. Узбек чуть скосил на меня глаза и снова закрыл их, тяжело, со свистом дыша. Я мгновенно заснул.

— А ну-ка, братец, ослобони чужое место...

Мне показалось, что спал я всего несколько секунд, а на деле вышло — часа два. Передо мной стоял старик с готовой ложкой в руках. Я уступил ему место и лег у него в ногах. Разговорились. Старик оказался костромским крестьянином Никитой Ивановичем Булатовым. Сидел в лагерях восьмой год, а в изолятор попал за то, что «в сердцах» обругал какого-то начальника. Второй был действительно узбек, по имени Хасан-Ага. Он умирал от цынги. Ноги его распухли настолько, что напоминали два толстых бревна, изо рта пахло гнилым мясом. Он не поднимался уже несколько дней и обеда не получал. Никита Иванович делился с ним своей порцией.

Добрый старик предложил мне лечь меж ним и узбеком, и два бушлата, его и узбека, использовать на троих.

— Как это вам удалось бушлат сохранить? — поинтересовался я.

— А кто их знает... — уклончиво ответил он. — Меня жулики почему-то не трогают.

— Вы по какой статье?

— Раскулаченный я. Десять лет имею.

Проснулись мы от какого-то душераздирающего крика. Я поднял голову и осмотрелся. Сквозь огромные дыры в крыше палатки чуть лился свет первых лучей

солнца. В пяти-шести шагах от меня корчился на земле человек. Всмотревшись, я увидел, что левой руки, до запястья, у него нет, а из безобразного обрубка ручьем хлещет кровь. На остатках нижних нар валялась окровавленная ладонь с растопыренными пальцами и рядом с нею — топор. Проснувшиеся арестанты молча смотрели на эту картину.

Человек вдруг как-то сразу затих, встал, схватил правой рукой левую, судорожно сжал и, пошатываясь, пошел вон из палатки. Мне хорошо запомнились его обезумевшие глаза и искривленный страданиями рот. Слышно было, как он истерически взвизгнул у вахты:

— Начальник! Я порубился!

И через секунду, громче, еще раз:

— Порубился-а-а!

Равнодушный голос дежурного коменданта ответил:

— Ну и черт с тобой!

Больше — ни звука.

Лежавший на нарах возле отрубленной ладони «урка» брезгливо ногой толкнул ее с нара, и ладонь, перевернувшись, шлепнулась наземь.

— Сука, не мог другого места выбрать... — проворчал он, укладываясь снова спать.

Мне сделалось не по себе. Я много слышал о «саморубах», но видел впервые. Отрубить себе руку или ногу, это значит попытаться спасти жизнь, получить надежду попасть в лазарет. Правда, по выходе из лазарета, «саморуб» получит добавочно 2-3 года к своему сроку, но зато дальше — «светлые» перспективы: лагпункт инвалидов, где легче живется.

У жуликов много способов попасть в лазарет. Не обязательно рубить ногу или руку, можно, например, порезать живот. Брюшина скоро подживает, остаются лишь безобразные шрамы, и чем они многочисленнее, тем больше цена такому «урке» в глазах товарищей. Можно сделать и «мастырку»: продеть в мякоть ноги

иголку с ниткой, намоченную в керосине, завязать нитку узелком, подержать в теле несколько дней и — гангрена, а потом и лазарет — обеспечены. Из этих же соображений и сифилис — не только блатная удадь, но и удача: сифилитиков отделяют, лучше кормят, не заставляют работать и даже лечат. Знаю примеры, когда «урки» умышленно заражали себя сифилисом.

Однако наш «саморуб» просчитался. Не так легко попасть в лазарет со «Стошестидесятого пикета»! «Саморуба» в назидание другим арестантам никуда не взяли. Когда началась раздача хлеба, он лежал у «вахты», подвернув голову, с прижатой к груди молочно-белой, выпачканной кровью, рукой. Он был мертв.

Наконец я получил 300 граммов хлеба. Это устроил Никита Иванович, каким способом — не знаю. А днем получил и обед.

Ночью умер Хасан-Ага. Я отодвинулся от мертвеца и хотел примоститься у входа в палатку, но Никита Иванович попросил меня помочь ему вынести труп. Я за ноги, он за плечи — мы вынесли и положили труп возле «вахты».

— Вот теперь и бушлат есть для тебя, — подмигнул мне старик.

На мертвом были старые ватные штаны. Когда Никита Иванович стал стаскивать их с трупа, я убежал в палатку. Вскоре и старик пришел, держа в руках штаны Хасана-Аги.

Засыпая, он долго ворчал:

— Нельзя так жить в лагере, как ты живешь. Эдак пропадешь ни за грош. Я порядки знаю. Голым, сынок, много не належишь на земле. Подумаешь — мертвый! Ну, мертвый и мертвый, а штаны его еще проживут и службу сослужат. Мальчишка ты еще! Господи! И за что только вас, эдаких, сажают? Жил бы себе да жил. А тут — тюрьма, каторга... Ну, ладно, спи!..

С бушлатом я скоро примирился, хотя все мне казалось, что от него пахнет трупом. А штаны Хасан-Аги я никак не решался надеть. Лишь очень холодной ночью Никита Иванович почти насильно натянул их на меня. Обновка носилась не долго: жулики проиграли ее в карты и сняли с меня в уплату долга. Старик за двести граммов хлеба выменял мне другие штаны, парусиновые, тоже рваные, с мириадами гнид.

Я чувствовал, как с каждым днем падали мои силы. Хлеб мы получали нерегулярно. От голода пересыхало во рту и начинал пухнуть язык. Он сделался каким-то чужим, непослушным, тяжело было говорить. На ногах появилась сыпь — первые признаки цынги. А впереди еще так много дней!

Старик, поглядывая на меня, сокрушенно качал головой:

— Эх, как ты быстро доходишь! Слаб, брат, ты! Вши заели?

— Заели.

— Сними-ка штаны, я их маленько побью. Я с ними быстро расправляюсь. У меня на них сноровка...

Со вшами он действительно расправлялся ловко. Выворачивал штаны или рубаху наизнанку и быстро проводил ими по горячей печке несколько раз, — потрескивая, вши сгорали.

Каждый день кто-нибудь умирал: от цынги, тифа, голода, от того, что рубили себе руки или ноги. Иногда кое-кого брали в лазарет, но редко, и только тифозников, чтобы не вспыхнула повальная эпидемия. И каждый день прибывали все новые и новые проштрафившиеся арестанты.

Однажды в палатку вошел высокий, стройный грузин, в кожаных сапогах и клетчатой рубашке. Запустив руки в карманы синих галифе, он остановился у двери и осмотрелся, щуря карие глаза. С верхних нар мгновенно прыгнул «урка» Корзубый и подошел к грузину.

— Что, гад, и ты попал? — негромко осведомился он, доставая из-за голенища сапога финский нож.

Грузин слегка попятился назад, молча рассматривая Корзубого.

— Братва! — закричал Корзубый, — это ж воспитатель с тридцать пятого лагпункта! Я его знаю. Бывший жулик! У-у, предатель!

Корзубый бросился на грузина. Тот ловко отпрыгнул, поднял с земли тяжелую доску и прислонился к стене.

— А ну, отойди... Брось нож! — злобно, сквозь зубы посоветовал он.

С нар прыгнуло еще несколько человек, товарищей Корзубого. Грузин отчаянно защищался. Размахивая доской, один бился против шестерых. Несколько раз падал, но снова подымался. Окровавленный, растерзанный, старался пробиться к выходу. Корзубый, изловчившись, коротким ударом ткнул его ножом в глаз. Грузин упал на колени и закрыл лицо. Тогда свалили его на землю и стали бить чем попало и по чему попало. Замелькали ножи.

Все было кончено в одну минуту.

Раздев до-гола, труп закопали в конце палатки. Землю притоптали и покрыли мхом. Все обитатели палатки были предупреждены — молчать! а если кто донесет охране, то последует туда же, куда и грузин.

Дня три все было тихо. Говорили, что убийцы даже хлебный паек получали на покойника. А однажды утром в палатку ворвались собаки-овчарки и человек десять охранников с наганами в руках. Охранники были слегка пьяны, от них пахивало одеколоном (на Печоре частенько пьют одеколон, за отсутствием в продаже спирта).

Собаки лаяли и рвались на привязях. Стреляя из наганов нам под ноги, охранники сбили арестантов в плотную толпу.

— Где убитый? — громко спросил командир в В ответ — ни звука. наступившей тишине.

— Я спрашиваю: где убитый? Не знаете? Кто убил грузина? Тоже не знаете? Хорошо! А ну-ка ты... выходи! — вытащил он одного «урку» из толпы.

Вывел его из палатки, и мы слышали, как заверещал избиваемый жулик. Когда командир привел его назад, все лицо «урки» было залито кровью. Тяжелый наган командир держал за дуло — бил рукояткой. Так он избил нескольких человек, первых, кто подвернулся ему под руку. Кто-то из них назвал и убийц и место, где закопан был грузин.

Я вспомнил поезд, этап, — старый эффективный способ допроса.

После того, как выкопали и унесли невыносимо пахнущий труп, шестеро убийц были уведены охранниками за «зону». Больше мы их никогда не видели.

Спустя некоторое время всех их расстреляли, а приговор, как всегда, в назидание, прочли вслух обитателям изолятора.

III

В палатке сумрачно. Жулье играет в карты. Слышны храп и стоны. Поздний вечер.

— Ребята, еще один помер!

Кого-то волокут за ноги и выбрасывают из палатки.

Никита Иванович с иголкой в руках латает старую гимнастерку. Я лежу рядом с ним, с открытыми глазами и облизываю сухие, потрескавшиеся губы. Страшно хочется есть. Я стараюсь не думать о еде и бессмысленно считаю вслух:

— 32, 33, 34, 35, 36...

Перед глазами вдруг появляется огромная буханка черного хлеба. Я радостно вскрикиваю и привстаю.

— Хлеб!.. Хлеб!

— Ты чего это? — удивляется старик, пристально вглядываясь в мое лицо.

Я растерянно оглядываюсь по сторонам.

— Никита Иваныч, я кажется, с ума схожу... Вот тут... вот тут я сейчас видел хлеб... Честное слово!

— Это, брат, тебе померещилось... Нехорошо.

Он качает головой и снова принимается за работу. Я опрокидываюсь навзничь и пробую собраться с мыслями. Да, я, наверное, схожу с ума! Боже, какая это пытка — голод! Со злобой вспоминаю Достоевского: задумал напугать мир «Мертвым домом»! Русская каторга 100 лет тому назад... арестанты выходят из острога на работу... у ворот острога их встречает вольный люд — мужики, бабы... суетливо суют в руки арестантов белые булки, калачи, яйца... на Рождество у арестантов на столе гусь... Гусь!.. Гусь!..

Я сжимаю голову руками и закусываю собственное плечо. Гусь!.. Жареный гусь! И только всего 100 лет тому назад!

Справа от меня лежит бывший инженер из Астрахани — Суслов. Он совсем распух от голода.

— Слушайте... слушайте, — хрипит он. — Давайте, попробуем сварить мои ботинки... они из кожи...

— Оставьте меня в покое! — огрызаюсь я. — Идите к чорту с вашими ботинками!

Подымается чья-то лохматая голова и вяло замечает:

— Это искусственная кожа, керза... там больше резины, чем кожи. Нельзя варить.

— А-а-а! — дико вскрикивает Суслов и пытается подняться, но слабые руки подламываются. — Я есть хочу! Я есть хочу!

— Замолчи! Замолчи, сволочь! — кричит шофер Панин, маленький лысый человечек. — Изобью!

Панин подходит к Суслову и долго бьет его кулаком по опухшему, давно небритому лицу.

Я снова принимаюсь бессмысленно считать:

— 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Из угла в угол, как маятник, ходит по палатке жулик Колька-Сом, высокий, бледный, чуть седеющий, с горбинкой на хрящеватом носу. Иногда он останавливается, хищно всматривается в кого-нибудь, ухмыляется и снова начинает ходить, бодро и солидно. Он был глава жулья в нашей палатке. Боялись его не только политические арестанты, но и «урки». Слово его — закон. Непокорных он нещадно избивает. Однажды ночью он задушил подушкой мелкого «урку», стащившего у кого-то из жулья хлеб, — об этом рассказывали шопотом.

Прогуливаясь, он останавливается возле Никиты Иваныча, долго смотрит на него и негромко осведомляется:

— Шьешь, старичок?

— Шью... — спокойно отвечает Никита Иванович.

— А мне вот скучно, — докладывает Сом.

— Так ты займись чем-нибудь... — советует старик.

— Нечем, папаша. Работать не умею и не люблю. Воровать не у кого... Разве убить кого?

— И это дело...

— Тебя, что ль? — усмехнулся Сом.

— Можно и меня... — также спокойно ответил старик. — Пожалуй, убей. Одним грешником меньше будет.

Сом присел на корточки и весело заглянул старику в лицо, доставая из кармана замусоленную колоду карт.

— Или знаешь что: давай на твою бороду в карты сыграем. Я проиграю — рубль тебе дам. Ты проиграешь — не взыщи — отрежу бороду по самые уши. Как? А?

— Пошел, пошел! — рассердился старик, но вдруг положил на колени шитье, подумал и, хитро прищурившись, спросил:

— Сом, ты сказки любишь?

— Уж и до чего люблю! — оживился Сом. — А ты что — сказочник?

— Ну какой я сказочник! Вот он... — старик показал на меня. — Вот он, брат, сказочник... Зовут его Серёгой... из студентов...

Сом дернул меня за ногу.

— Слушай, ты, Серёга! Пойдем к нам сказки рассказывать. Вставай! Вставай, что ль!

Я молчал, не зная, что ответить. Никита же Иवानыч подтолкнул меня, я понял, что надó идти.

— Слаб он... — пожаловался старик. — Его бы подкормить.

— Подкормим... — пообещал Сом. — Вставай!

При слове «подкормим» меня словно кто гвоздем уколел: я мгновенно вскочил на ноги. Через минуту я уже сидел на верхних нарах, окруженный жуликами, и прямо из ведра ел большой ложкой «затируху», давясь и не пережевывая куски теста. Ничего более вкусного я никогда не ел за всю мою жизнь. Я до сих пор отчетливо помню солоновато-кисловатый вкус этой «затирухи». Сом сидел на корточках против меня и, подмигивая товарищам, приговаривал:

— Вот так жрет! Вот так наворачивает!

Я думал лишь об одном: больше съесть и скорее. Как можно больше.

— Ты про что будешь рассказывать? — осведомился у меня курносый «урка» Пончик.

Я не отвечал, боясь потерять время на слова. Однако, после того, как я съел литра два «затирухи», Сом неожиданно вырвал у меня ведро и спрятал за спину.

— Зачем? — чуть не плача, вскрикнул я. — Дай еще!

— Не дам! — кратко и решительно ответил Сом.
— А то загнешься. Когда человек долго не ел — нельзя ему сразу много давать — кишки завернутся. Кто же нам тогда сказки будет рассказывать!

— Сом, пожалуйста, дай!

— Завтра дам.

Минут десять я молча лежал, облизывая губы. Вот так счастье привалило мне! Зачем рассказывать сказки? Кому? Разве то, что случилось со мной — уже не сказка? Ай да Никита Иваныч!

Тут я впервые вспомнил о старике и попросил Сома дать и ему «затирухи». Сом приказал Пончику отнести старику в пустой консервной банке «затирухи», но предупредил:

— Только смотри: заверни банку во что-нибудь и вызови старика из палатки, а то «шакалы» отнимут у него.

Меня торопили с рассказом. После некоторого колебания, я выбрал «Графа Монте-Кристо». Кажется, никто и никогда не слушал меня с таким напряженным вниманием, как слушало меня тогда ночью, на нарах, жулье. Они напоминали больших детей. Еще до изолятора я замечал, как любят заключенные слушать разного рода истории, и чем нереальнее, чем фантастичнее эти истории, тем с большим удовольствием слушаются они. Видимо, страшная действительность заставляла людей искать забвения в ином мире, в мире вымыслов и фантастики. Затаив дыхание и не спуская с меня глаз, слушали жулики «Графа Монте-Кристо». Они услужливо крутили мне цыгарки, прикуривали и совали зажженную цыгарку мне в губы — лишь бы я не отвлекался и не прерывал рассказа. Взволнованно переживали острые моменты, вскрикивали, дружно и злобно обрушивались на тех, кто плохо понимал и часто переспрашивал что-либо. Помню, что восторг их достиг вершины в том месте, где граф бежит из тюрьмы. Со всех сторон слышались восклицания:

— Ловко!

— Ай, да парень!

— Вот бы хороший жулик из него вышел!

— Хо-хо! Мертвеца вынул из мешка, а сам залез!
Отчубучил номер!

— А аббат, ребята, тоже деляга был! Дураком прикидывался, а знал, где клад зарыт!

Кажется, в первую ночь я и закончил на побеге графа. Закончил нарочно на интересном месте — решил растянуть роман на несколько дней. Уже светало, когда стали укладываться спать. Мне не надо было идти к вахте и кланчить паек — жулье предупредило меня, что еды мне будет вдоволь. Вновь меня накормили. Поев, я блаженно вытянулся. Сом сунул мне под голову свою подушку, — кажется, он был единственным обладателем такой роскоши во всем изоляторе. Подушку! Подумать только — я спал на подушке! Кто-то заботливо укрыл меня бушлатом.

С этой ночи для нас с Никитой Иванычем началась в самом деле сказочная жизнь. Мы ели до-сыта (жутко те теперь подумать: ели, конечно, чужие пайки, пайки украденные, но тогда об этом не думалось), у нас появились новые гимнастерки и нижнее белье, мы никого не боялись. Влияние мое на жуликов все увеличивалось. Все чаще и чаще я стал просить у Сома хлеба и «затирухи» то для одного, то для другого политического арестанта. Словом — «жить стало лучше, жить стало веселей», как говорит товарищ Сталин.

Но всему бывает конец, пришел конец и моей «сказке». После «Графа Монте-Кристо», я рассказал «Монмартскую сироту» Луи Буссенара, «Всадника без головы» Майн-Рида, «Баскервильскую собаку» Конан Дойля и приступил к «Тайне старой башни», вычитанной мною когда-то в «Ниве» и автора которой я никогда не помнил.

В этот день, с утра, я чувствовал себя скверно. К вечеру началась головная боль, на лбу появилась испарина. Рассказ свой я оборвал рано, примерно в час ночи. Жулье беспокойно поглядывало на меня. К утру следующего дня у меня начался жар. Осмотрев меня, Сом кратко сказал:

— Тиф!.. Сыпняк!.. Скидывай его, ребята, с нар...

Безжалостно и грубо меня, недавнего кумира, жулики стащили вниз и бросили на землю.

Помню дыры в крыше палатки над головой, помню черную бороду Никиты Ивановича, часто склонявшуюся надо мной — потом наступил мрак...

IV

...Слабо мерцает керосиновая лампа. Досчатый потолок. Бревна сруба сходятся в углу в прочную связь. Я лежу под грубым суконным одеялом. Справа и слева от меня койки, на них люди. За стеной свистит ветер, шумит тайга.

Проходит кто-то в белом. Останавливается, внимательно смотрит на меня. Женщина.

— Абрам Яковлевич, кажется очнулся этот... молоденький...

Еще кто-то в белом. Мужчина. Круглые очки. Большой, рыхлый нос. Губы улыбаются.

— Таня, подайте градусник.

— Выживёт?

— Все в порядке. Кризис миновал.

Я спрашиваю, с трудом двигая губами:

— Где я?

— В лазарете Веселый Кут, — отвечает девушка.

Итак, я в лазарете. Странное название — Веселый Кут. Это, наверное, перевод с зырянского.

Я быстро стал поправляться. С доктором Абрамом Яковлевичем Рыбаком и с сестрой Таней у меня уста-

новилась тесная дружба. Вскоре мы знали всю подноготную друг друга. Доктор Рыбак имел 10 лет по 58-ой статье. Он был знаком с Каменевым: этого достаточно для НКВД, чтобы послать человека на 10 лет в концлагерь. У Тани срок был 5 лет, тоже по 58-ой статье. Она была студентка Казанского университета и арестована была вместе с группой студентов в 1936 году. У Тани — добрые серые глаза, с налетом грусти, белокурая головка, безупречно-чистый халат — так я её и запомнил.

От Тани и доктора Рыбака узнал я кое-что и о себе. Привезли меня со «Стошестидесятого пикета» на телеге два охранника. Сам факт, что со «Стошестидесятого пикета» отправили заключенного в лазарет — был случаем редким, и доктор Рыбак постарался подробнее пораспросить охранников, людей молодых и словоохотливых. Но они, по-существу, ничего не знали. Знали лишь одно, что отправлен я был по распоряжению начальника изолятора. Забегая вперед, скажу, что лишь 2 года спустя я узнал почти все, что со мной произошло от Пончика, которому тоже посчастливилось выбраться из изолятора и которого я встретил на Ижме. Вот что он рассказал: Никита Иваныч на руках вынес меня к «вахте», положил на землю и целый день упрашивал дежурного вахтера доложить о том, что я болен тифом начальнику изолятора. Вахтер отказывался и прогонял старика, но случилось так, что на вахту зашел по какому-то делу сам начальник, в хорошем настроении и слегка под хмельком. Узнав, что у больного тиф, распорядился о немедленной отправке меня на Веселый Кут.

— Веселого здесь мало... — говорил доктор Рыбак. — Зато много больных, а лечить нечем. Смертность чудовищная.

Я страшно боялся, что по выздоровлении меня опять отправят на «Стошестидесятый пикет», ибо до конца моего срока наказания в изоляторе было еще

далеко — шел только сентябрь. Беспокоило это и друзей моих — доктора и Таню. Но, видимо, я родился все-таки под счастливой звездой. У доктора нашлись какие-то прочные связи в УРЧ Веселого Кута (УРЧ — сокращенно учетно-распределительная часть, где хранятся документы заключенных. Эти, «личные» документы т. н. «формуляры» путешествуют с лагпункта на лагпункт вслед за самим заключенным. Главные же документы хранятся в управлении всего лагеря). Доктор Рыбак, рискуя попасть под тяжелое наказание, устроил так, что побег перестал числиться за мной в моем «формуляре». Обнаружиться подделка могла лишь при моем освобождении из лагеря, но слава Богу, не была обнаружена.

Октябрь и ноябрь я прожил на Веселом Куте, работая санитаром при лазарете. Пристроил меня, конечно, доктор. И по его же совету я написал заявление в Княж-Погост (центр Севжелдорлаг-а), с просьбой принять меня в качестве актера в театр; в Княж-Погосте организовывался в то время театр для вольнонаемных служащих лагеря, актеров же искали среди заключенных. В заявлении я, конечно, написал, что я — профессиональный актер, хотя кроме любительских спектаклей и лагерной «концертной бригады» нигде никогда не играл.

Шли дни, а ответа из Княж-Погоста не было, и судьба решила иначе. (Впрочем, позднее в театр я все-таки попал).

В начале декабря я убирал как-то снег возле бараков. Смотрю — идет Толдин, в шубе, в валенках, тот самый воспитатель Толдин, у которого я работал художником на лагпункте Тобысь.

— Серёга?

— Я.

— Что ты тут делаешь? — удивился он, останавливаясь.

— Как видите, убираю снег...

— Вот так встреча!

Он, видимо, искренне обрадовался.

— Художничаешь?

— Нет. Санитаром при лазарете работаю.

— Брось это дело. Поедем ко мне в Чинья-Ворык. Опять художником станешь. Мне до зарезу нужен художник.

— А вы что: все еще воспитатель? — поинтересовался я.

— Нет, подымай повыше! — с гордостью ответил он. — Я кончил срок, освободился, но домой не поехал, остался в лагере работать по вольному найму. Я теперь начальник Культурно-воспитательной части всего 2-го отделения лагеря.¹

— Ого!

— Вот тебе и «ого»! Ну, поедешь?

— Нет, Толдин, не поеду. Мне и здесь хорошо...

Но разве может заключенный перечить вольному? Через два часа в руках у Толдина уже было распоряжение начальника 2-го отделения Уралова (Толдин связался с ним по телефону) о моей отправке в Чинья-Ворык.

Тяжело было расставание с доктором и Таней — так сильно мы подружились. Без шапки, слегка прихрамывая, доктор проводил меня до самой «вахты».

Где-то вы теперь, мои милые друзья: Никита Иванович, Таня, доктор? Лежите ли в холодной и чужой вам зырянской земле или все так же мучаетесь по советским тюрьмам и лагерям?..

¹2-ое отделение — участок строительства, приблизительно в 70-80 км. длиной.

В СНЕЖНОЙ МОГИЛЕ

I

Красное огромное солнце подымалось из-за далекой горы в белесой, морозной дымке, окрашивая в розовый цвет убегающую снежную дорогу. Справа и слева уродливыми сугробами поднимались запорошенные ели и сосны, образуя грозную, неприступную стену. Голодная лошаденка, лениво тащившая зырянские сани, потряхивала заиндевелой головой и при каждом выдохе, как паровоз, пускала густые клубы пара. Звонко скрипели полозья, нарушая тишину таежных просторов.

На сене, брошенном на дно саней, еще сохранившим запахи лета, лежал, скорчившись и кутаясь в рваную шубенку, Семен Яркин, поглядывая маленькими глазками, утонувшими в густой, покрытой сосульками, бороде, на меня, шедшего рядом с санями, и вполголоса тянул:

Здесь бывают большие мор-о-зы,
И порою так трудно дышать;
А на юге — души-и-истые ро-о-зы.
Неужели мне их не вида-а-ть? . .

Мороз был такой, что слипались ноздри и веки, и дышать, как в песне, было действительно трудно. Не про шумит крылом ни одна птица, не перебежит дорогу торопливый заяц, — как будто все вымерло.

Я ехал на 9-й лагпункт, куда меня вызвали из Чинья-Ворык неизвестно зачем. Толдин, начальник КВЧ, отправлявший меня в путь-дорогу, дал мне такое напутствие: «Сегодня вечером ты поедешь на 9-й лагпункт. Просили прислать художника. Зачем — не знаю. Захвати краски и кисти. С конюшни, часов в

шесть отправляются туда сани, можешь подъехать с ними».

Я был расконвоирован.

— Ну и морозец! — воскликнул Семен Яркин. Он выпрыгнул из саней и зашагал рядом, бросив вожжи на заиндевелую спину лошаденки.

— Далеко еще нам? — осведомился я.

— Да километра три будет... Но! Ты! Кляча! Пошевеливай! — прикрикнул он на лошаденку. Та повела одним ухом и ничуть не прибавила шага.

— Вот тварь проклятушая! — возмущался Семен Яркин.

— Ты ей и так и сяк, а она — хоть бы что!

— Она ведь тоже на арестантских харчах! — попробовал я защитить клячу.

— Это ты верно сказал, — живо согласился Семен. — Харчишки у ней, вроде наших, никудышные. Сенца чуть-чуть дают. Почти на одной соломе сидит скотинка. Да что скотина! — махнул он рукой. — Ты посмотри, что у нас на лагпункте делается!

— Плохо?

— А ты не бывал у нас раньше-то?

— Бывал, с год назад.

— Э-э! Теперь другое. Во-первых, у нас одни бабы-заклученные.

— Как одни? — удивился я.

— А вот так. Начальство лагеря решило, вишь, всех баб пособрать и загнать на один лагпункт. И политических и блатных.

— Это зачем?

— А уж их спроси. Я не начальник. Слышал стороной, что, якобы, они так будут лучше работать и, вообще, болезней меньше будет. Да только ерунда получилась. Какая там работа! Тысяча пятьсот баб, жрать им нечего. Три месяца идет такая потеха. Мрут как мухи... Ну! Ты! шевели, шевели, чертяка! — опять прикрикнул он на лошадь.

Мороз усиливался. Я чувствовал, как леденели мои ноги и руки. Солнце все больше бледнело, затягиваясь в мутную, белесую дымку.

. . . А на юге душистые розы,
Неужели мне их не видать? . .

опять пропел Семен Яркин, потирая нос.

— Два годика мне еще осталось. Эх, ма! — весело добавил он.

— Сколько же ты отсидел?

— Восемь лет, как одну копеечку. Все лагеря и тюрьмы Советского Союза прошел. А два года досидеть — раз плюнуть! Чего это? Смотри!

Я взглянул по направлению протянутой руки Семена и увидел метрах в двухстах от нас фигуру женщины. Она быстро бежала по дороге навстречу нам, оглядывалась и снова бежала, размахивая руками.

Когда она была в нескольких шагах от нас, из-за поворота дороги вырвались две собаки и, наклонив головы, бесшумно помчались вслед за женщиной, и почти тотчас же за ними показались три человека с винтовками в руках.

Семен остановил лошадь. Я видел умоляющие глаза подбегающей к нам молоденькой женщины, ее бледные, несмотря на мороз, щеки, и ничего не понимал, но через несколько секунд все сразу стало ясным.

Обезумевшие от погони собаки, догнав женщину, мгновенно сбили ее с ног и злобно стали рвать на ней одежду. Она, закрывая лицо руками, каталась по снегу и кричала. Ключья одежды черными хлопьями летели в стороны. Я рванул было, но Семен обхватил меня обеими руками, бросил в сани и, тяжело дыша, прерывисто проговорил:

— С ума сошел? Дурак. Пристрелят. Не видишь — вохровцы.

Стреляя в воздух, охранники отогнали собак от распростертой на снегу девушки. Она лежала вниз

лицом, тихо всхлипывая. Бушлат собаки сорвали с нее начисто, синяя блузка, превращенная в лохмотья, сбилась в жгут на поясе, обнажив странно-желтое тело; плечи, шея, маленькие груди зияли глубокими царапинами, из которых неторопливо сочилась на снег яркая темно-красная кровь. Пальцы далеко откинутой левой руки медленно сжимались и разжимались, царапая укатанную дорогу. Темный шерстяной платок рвали друг у друга отбежавшие в сторону овчарки.

— Подымайся! — скомандовал один из вохровцев, пнув добротным валенком женщину в спину. Она лежала, не двигаясь.

— Гражданин конвоир, — вдруг проговорил в наступившей тишине Семен Яркин, срывая сосульки с бороды. — Это Анна Коромыслова. Я ее знаю. Она с нашего лагпункта. Она, наверно, к мужу пошла на соседний лагпункт... муж там у нее... тоже заключенный.

— Не твое дело, — заявил рябой зырянин-вохровец, утирая рукой нос. — Она совершила побег... потому, как она есть заключенная, отлучаться с лагпункта самовольно не имеет права. Сама виновата: знает, что все одно догоним, нет — бежит.

— Обморозится она, — сказал я.

— Так и надо ей, не бегай по мужикам! — нравоучительным тоном сказал третий вохровец, молодой, красивый паренек. — Подавай сани! Вы куда едете, на девятый?

— Ага... — ответил Семен, направляясь к лошади.

Когда лошадь, сделав несколько шагов, подъехала к месту происшествия, мы с Семеном подняли женщину и понесли. Она выглядела совсем девочкой. Большие серые глаза тускло смотрели на нас, густые черные волосы, пересыпанные снегом, беспорядочно разметались, из рассеченной брови струилась кровь, оставляя красный след на щеке. Нос, подбородок и маленькие пальцы уже побелели — мороз успел прихватить их.

· Я снял бушлат, закутал женщину, Семен достал из-под сена старенькое одеяло и накинул его поверх моего бушлата. Уложив ее в сани, мы собрали раскиданные остатки одежды и прикрыли ими голову и лицо Анны.

Пока мы проделывали все это, охранники спокойно стояли, свертывали цыгарки, смачно поплеывая на снег.

— А ничего бабенка-то... — нехорошо улыбаясь, сказал молодой вохровец. — Как репа. Ну, готовы, что ль?

— Поехали! — скомандовал Семен.

От того ли, что померзла, стоячи, или почувствовала, что от нее зависит сейчас жизнь человека, только вдруг лошадка проявила прыть и быстро затрусила по таежной дороге.

Мне было холодновато в одной ватной телогрейке; согнувшись, я быстро пошел позади саней. Рядом со мной зашагал молодой вохровец.

— Что? Пожалел бабу, а теперь вприпрыжку, — рассмеялся он. — Ты заключенный?

— Да.

— А пропуск для бесконвойного хождения имеешь?

— Имею.

— Покажи.

Я снял рукавицу и полез за пазуху.

II

Девятый лагпункт стоял возле самой трассы будущей железной дороги, утопая в сугробах снега. Из-за ветхого забора, с вышками по углам, выглядывали крыши многочисленных брезентовых палаток. Прямо напротив ворот работала бригада женщин. Они долбили в неглубоких забоях каленую, как сталь, землю. Несколько человек сгрудились у жалкого костра, протянув

к нему руки. Лица их были серы, провалившиеся глаза блестели давно знакомым мне голодным огнем.

— Люди добрые! Киньте хлебца! — крикнула пожилая заключенная.

— Нету, матушка, — ответил Семен.

Мы подъехали к вахте. Из двери вышел на небольшое крылечко молодцеватый парень в желтом овчинном полушубке и коротко осведомился у вохровцев:

— Пымали?

— А как же! Вот она, целехонькая, как огурчик, — ответил рябой вохровец, показав на тихо лежавшую Анну. — К лекпому надо отнести ее. Собачки малость поцарапали.

— Ну, положим, не очень целенькая...

Анну унесли в «зону». Я спросил у парня в полушубке, как найти начальника лагпункта?

— А ты кто? — поинтересовался он.

Я протянул ему путевку, данную мне в Чинья-Ворык начальником культурно-воспитательной части. Состроив важную мину, парень начал читать.

— А-а.. — протянул он. — Вот это во-время. Значит, ты как художник сюда прислан? Отлично-хорошо. А я воспитатель этого лагпункта Клим Роскин. Подчиняться будешь мне. Ох, тяжело баб перевоспитывать!.. Пойдем к начальнику.

Начальником лагпункта — Зотовой, толстой, неприятной женщиной — мы были приняты довольно радушно.

— Так, так. Художник, значит? — сладко улыбаясь, проговорила она, выслушав воспитателя. — А портреты можете рисовать?

— Могу, только я не мастер на портреты.

— Так, так. Ну, прежде всего, вы нарисуете мой портрет. Уж как получится. Потом вот с воспитателем надо выпустить стенгазету для заключенных. Потом...

— Товарищ начальник, — вставил воспитатель, —

я полагаю, что после вашего патрета надо перво-на-перво над воротами написать, как на всех лагпунктах: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Сталин.». А потом — стенгазету и лозунгов побольше развешать по женбаракам.

— Так, так, это правильно, — охотно согласилась Зотова. — Ну, жить будете вместе вот с гражданином воспитателем. У него есть кабинка в женском бараке. Вам там скучно не будет. Лет-то вам сколько?

Я ответил.

— А чего же такой молодой, а бороду отпустил?

— Так теплее, — ответил я и добавил: — Там, гражданин начальник, женщину собаками вохровцы затравили, надо бы ей медицинскую помощь оказать.

— Это кого? Анютку Коромыслову? Поймали?

— Опять ее, — усмехнулся воспитатель. — Все бегаёт, подлюга. Пымали.

Зотова повернулась ко мне.

— Ничего. Она уж не впервой бегаёт, здоровая девка. К мужу все хочет. Наш лекпом подлечит. Только ведь опять убежит. Странный народ. Я ведь тоже вот заключенная, десять лет имею по стоодиннадцатой¹, три отбыла всего, а не убегаю.

— Я думаю, гражданин начальник, в этот раз, ежели с койки встанет, надо Анютку месяца на два в штрафизо упрятать.

— Там увидим. Ну, идите, отдыхайте, а завтра — за работу. Пока. — сказала Зотова и протянула руку.

Я еле-еле дотронулся до пухлой руки и вышел вместе с воспитателем из домика этой глупой бабы, коей молодчики из НКВД доверили жизнь 1500 женщин-заключенных. От всего видимого уже начинало меня тошнить. Все лагпункты нашего огромного лагеря походили один на другой, как похожи человеческие скелеты.

¹ 111-ая статья У. К. — мошенничество.

III

В одной из брезентовых палаток-бараков, вмещающей 200 человек, в самом дальнем углу, была устроена комната воспитателя Роскина. Если в общем бараке женщины спали на сплошных, в два этажа, нарах, то у Роскина была чистая койка с простыней и белой подушкой. На досчатых стенах висели портреты вождей, на окне стоял в горшке зимний цветок, каким-то чудом попавший сюда; стол покрывала клетчатая зеленая клеенка. Посредине комнаты стояла раскаленная железная печка. Было тепло и уютно.

Личная «дневальная» воспитателя Роскина, молоденькая девушка с задорным носиком, внесла легкий деревянный топчан, на котором мне предстояло спать, и поставила его у наружной стены, напротив койки Роскина.

— Я, брат, в лагере живу не хуже, чем на воле, — хвастался Роскин.

Несмотря на рабочее время, в бараке находилось около 30-40 женщин. Это были освобожденные от работы лекпомом заключенные. Некоторые из них играли в карты, другие спали, часть занималась починкой одежды.

— Не люблю я с политическими жить, — объяснял Роскин. — Скучно с ними. С блатными веселей. Этот барак весь у меня из уголовного элемента.

— А сколько политических у вас?

Роскин запустил пятерню в спутанные волосы, оттопырил губы, что-то соображая, — должно-быть, подсчитывал.

— У нас... значит, так: восемьсот с хвостиком политических баб и штук пятьсот уголовного элемента. Беда с ними! На работу не ходят. Политические еще туда-сюда, а блатные — хоть плачь. И до мужиков охочи. Дело, конечно понятное. Вот хоть бы такой тебе пример...

Роскин уселся напротив меня, расставил колени, уперся в них руками и наклонил голову.

— Наша лекпомша — баба, можно сказать, старая, лет под сорок. Заходила частенько ко мне: я ей на гитаре играл. Однажды приглашает меня к себе: «Зайдите, — говорит, — я спирт для больных получила, выпьем по рюмке». Ну, сам понимаешь, — какой же дурак откажется. Прихожу. Огурчики у нее соленые, хлебец. Выпили, закусили. На гитаре я поиграл. Опять выпили. Короче говоря, намазался я, как следует, и не помню, что дальше было. Только просыпаюсь это я и — что за чорт!.. Лежу раздетый в постели, а рядом лекпомша лежит, тоже, конечно, раздетая, и спиртищем от нее, как от аптеки, разит. Лежит, дряблая такая, вроде покойника... Растолкал я ее и спрашиваю: «Что же это ты, мадам делаешь? Совесть, говорю, у тебя есть или нет? Меня, воспитателя целого лагпункта, который должен из преступников людей сделать, ты, старая морда, положила спать с собой! Ты ж могла меня опозорить таким поступком! Где, говорю, мои штаны? Ложи сюда!». Ну, она слезла с постели, качается еще с похмелья, подает мне штаны и сапоги и говорит: «Ты не больно серчай, потому сам должен понять: женщин на лагпункте полторы тысячи, а мужиков всего тридцать, все охранники, живут за зоной, а ты есть единственный мужчина, который в зоне живет и доступный нам, а потому серчать нечего.». Ну, что ты с ней, с дурой, делать будешь? Плюнул я, оделся и ушел. Ну, что ты на это скажешь?

Что ж можно было ответить? Я молчал.

— За что вы сидите? — спросил я.

— Я-то? Тещу убил. Шесть лет огреб.

Он смачно сплюнул и добавил:

— А на воле, брат, у меня такая «маруха» осталась — закачаешься! Вот посмотри... Тут и надпись есть. Только, я думаю, она не сама сочинила — уж больно красиво написано...

Он достал из кармана замусоленное фото здоровенной бабы, с опухшим, узколобым лицом. Внизу, на широком поле, было написано:

Если Клиша с тюрьмы не вернется,
Если съест его злая тайга,
Пусть на память ему останётся
Неподвижная личность моя...

«Личность», в самом деле, была удивительно «неподвижная».

Вечером я пошел бродить по лагпункту. Яркое звездное небо черным шатром накрыло тайгу. В зеленом свете луны, искрящемся на свежесвыпавшем снеге, сгорбившись и позвякивая котелками, тянулись серые тени к кухне. Я направился вслед за ними.

У кухни стояла в очереди тысячная толпа женщин. Вся эта черная масса в лунном свете копошилась, как куча червей, слышался плач, рев, матерная брань, смех.

— Начальники! рыбу на́-руки!

— Рыбу на́-руки выдавать!

— Отработаешь двенадцать часов на морозе, да весь вечер стой в очереди за куском тухлой трески.

— Сами в тепле, сволочи, а мы стоим тут!..

Возле бревенчатой стены кухни две женщины озлобленно дрались, вырывая котелок друг у друга. Судя по их выкрикам, я понял, что одна из них — политическая, другая — блатная.

— Отдайте, говорю вам! Это мой котелок! Вы его украли у меня! — упрашивала политическая.

— Я тебе, стерва, дам твой котелок! На! на! Что, съела? — ударяя соперницу по лицу, кричала блатная.

— Манька! Всыпь ей! — поддерживали со стороны «свои» девочки. — Всякая контра ежели будет котелки воровать... Им только дай повадку.

Подошла комендантша, здоровая баба в шапке-пилотском шлеме и разняла дерущихся. Котелок очутился, все-таки, в руках блатной, а у ее соперницы

ручьём текла кровь из разбитых носа и рта. Она, всхлипывая, долго прикладывала снег к больным местам под дружный хохот блатных.

И опять — крики:

— Я не получила трески! Начальница!

— И я тоже!

— Отдайте нам рыбу! — неслось со всех сторон.

— На том свете получишь! — смеялись «урки».

Все было так, как было почти на всех лагпунктах нашего обширного Печорского лагеря: голод, вши, каторжная работа, сытые начальники, голодные заключенные, тоска и смирение в глазах политических арестантов и бесшабашная удаля на лицах «блатных».

Придя в барак, я был поражен новым зрелищем. Забравшись на верхние нары, свесив голые ноги, исколотые неприличной татуировкой, сидела проститутка, мастерски играла на гитаре и пела сочным, слегка хрипловатым голосом известную, бравую воровскую песню.

... Раз пришлось мне как-то летом
В стоге сена ночевать ...

Дальше вступал хор — все женщины, находившиеся в бараке:

... Утомился я с дороги,
Стал тихонько засыпать ...

Песня лилась в диком темпе, с присвистами и выкриками.

Между раскаленной железной бочкой, заменявшей в бараке печку, и столом, молоденькая девочка звонко отбивала ногами стремительную чечотку.

... Но не долго спать пришлось —
Слышу чей-то разговор ...

Девочка, размахивая руками и виляя круглыми, полными бедрами, звонко шлепала коротенькими кожа-

ными сапожками по полу. Вдруг, заметив меня, она остановилась и захохотала. Все повернули голову в мою сторону, песня мгновенно стихла, замолкла гитара, тонко прозвенев струной.

Девочка шлепнула себя по голым коленям и радостно закричала:

— Кого я вижу! Телефониста с Тобыси!

Верно, был я года полтора назад телефонистом на лагпункте Тобысь. В девочке я узнал Валентину Дождеву, 16-летнюю воровку. На Тобыси она отказывалась от работы и месяцами сидела за это в изоляторе.

— Это художник приехал на наш лагпункт! — сказала одна из пожилых женщин. У воспитателя поселился в кабинке. Не зевай, Валька!

Все дружно рассмеялись.

— Про нас не забудь!

— Выдели его на ночку на весь барак!

— Валька! Проиграй его мне в «очко»! Новый бушлат ставлю!

Я стоял, растерявшись.

— Тише, вы, черти! — закричала Валентина. — Дайте время, все улажу. Чать не обидит нас человек. В дверях появился воспитатель Роскин.

— Замолчать! — грозно крикнул он. — Чего к человеку пристали. Дайте ему пройти! Как вас не перевоспитывай, гадов, все вести себя не можете.

Я юркнул в кабинку Роскина, а за мной — Валентина под дружный хохот всего барака. Вошел Роскин и плотно прикрыл дверь.

— Нет, ни черта из этого народа не получится, — сокрушенно качал головой он. — Ну, вас что ль вдвоем на полчаса оставить? — осведомился он, поглядывая то на меня, то на Валентину.

— Зачем? — спросил я.

— Как зачем? — удивился Роскин, — хоть я и воспитатель, но человек не злой и с понятием.

— Нет, нет, сидите уж — вздохнул я. — Ну, как поживаешь, Валя?

— По маленькой... — уклончиво ответила она.

— Работать не хочет, — вставил Роскин.

— А чего ж я буду работать на тех, кто меня в лагерь загнал? Вот еще! Очень мне нужно. Она состроила презрительную мину. — Вот Сергей знает: я и на Тобыси никогда не работала.

— А где твой Степан? — спросил я, вспомнив, что у нее был лагерный муж, кудрявый двадцатилетний паренек, сидевший за бандитизм.

— На Воркуту по этапу угнали осенью. Жалко парня. Так ты теперь художником заделался?

— Да ведь как-то жизнь спасать надо, Валя, — ответил я. — Художником так художником.

Она опустила голову, рассматривая свои вытянутые ноги, сложенные вместе носками. В ее чуть раскосых коричневых глазах блеснул озорной огонек.

— Слушай, — сказала она. — Я все ж таки сегодня ночью приду к тебе.

— Вот это дело! захохотал Роскин. — А я комендантов позову и обоих вас — в изолятор.

— Не позовешь, — знающе протянула Валентина. — А позовешь — прирежут девчата тебя, как гадюку.

— Да ить я смеюсь. Я сам вам предлагал...

Я рассмеялся.

— Брось, Валя! Ну какой я кавалер? Худой, тощий, недавно в тифу лежал... Давай-ка я тебе лучше что-либо нарисую.

— Во-во! — охотно подхватила она. — Нарисуй мне цветочек, а я вышью.

На этом мы и поладили. Она ушла.

Долго еще за стенкой слышался смех и бречание гитары.

— Анька-то Коромыслова все ж померла, — закутываясь в одеяло, проговорил Роскин.

— Когда?

— Да вот перед ужином...

Я лег и долго не мог уснуть. Над палаткой затянула свою песню метель. Снежная крупа забарабанила по брезенту, точно кто-то осторожно шаркал веником.

IV

На другой день я присутствовал при разводе бригад на работы.

Чугунный буфер, висевший у входа в зону, поднял население лагпункта часа в четыре утра, когда было еще совсем темно. Коменданты и нарядчики (все женщины) бегали по баракам, выгоняли заключенных на улицу, некоторых, кто не желал идти, за ноги стаскивали с нар и волокли насильно по снегу к вахте. Воспитатель Роскин, забравшись на разбитые сани, держал речь:

— Заключенные! Партия и правительство, товарищ Сталин, идут вам навстречу: ежели вы хорошо будете работать, вам будет дано досрочное освобождение.

— Вчера вот одна уже досрочно освободилась. Анна-то Коромыслова!..

— Сил нету! Голодные! — крикнула из толпы маленькая, закутанная в платок, женщина.

— Как это сил нет? — возмутился Роскин. — Должны быть силы, раз ты находишься на ответственном социалистическом строительстве по освоению далекого севера.

— Хлеба давай, тогда и работать будем! Тебе хорошо, чорту, ты всегда сыт!

— Я, гражданочка, позволь тебе заметить такой же заключенный, как и ты. Пора это знать.

— Тем хуже, что вы заключенный, — негромко проговорила какая-то женщина интеллигентного вида.

— Короче говоря, — рассердился Роскин. — Забирайте лопаты и отправляйтесь к чортовой бабушке на работу. Вы никакому перевоспитанию не поддаетесь.

Он спрыгнул с саней и стал закуривать. На его место влезла Зотова.

— Граждане заключенные! Я, как начальница лагпункта и как женщина к женщинам, обращаюсь к вам с просьбой: подымайте на высоту производительность труда. Все, что от меня зависит, я вам делаю и даю.

— Ты нам мужиков на лагпункт дай! — звонко крикнула гитаристка из нашего барака.

— Правильно! — загудели «блатные». — Сама небось с каждым охранником переспала, за зоной сидючи, а мы стариков и тех не видим!

— Давай ребят на лагпункт!

— Дорогие гражданки-заключенные! — прикладывая руки к груди продолжала Зотова. — Не будем на общем собрании распространяться на такие антимные темы. Не от меня это зависит. Согнать вас на один лагпункт решил начальник нашего отделения товарищ Уралов, а мы есть его подчиненные.

— Пущай он приедет, этот Уралов, к нам на лагпункт! — снова раздался голос из толпы. — Посмотрел бы, как мы живем, да посчитал бы сколько нас в деньдохнет.

— Митинг закрывается! — скомандовала Зотова. — Охрана! Выводи бригады на работу!

Вохровцы защелкали затворами винтовок, загоняя обоймы в магазины, и, бригада за бригадой, женщины стали выходить из «зоны», позвякивая лопатами.

В этот день мне пришлось все-таки сделать карандашный портрет Зотовой, за что я получил от нее две буханки хлеба и кило два гречневой крупы.

V

Советский концлагерь, громко именуемый «Исправительно-трудовым», это — особый мир, это — государство в государстве. Здесь все подчинено своим странным неписанным законам, стихийно родившимся где-то в

природе нового советского человека. В этом отношении особый интерес представляет психология советских уголовных преступников. Наряду с многими странными качествами этих людей, у них есть одно, заслуживающее прямо-таки научного исследования. Это качество состоит в самоистязании, которое в свою очередь является формой протеста.

Дня через два после моего приезда на «9-й женский лагпункт» я порезал себе палец и отправился к лекпомше, чтобы залить ранку иодом.

В кабинке лекпомши на грязной койке лежала молодая девушка, все лицо которой было залито чернилами.

Возле нее хлопотали лекпомша и санитарка. Я поинтересовался и спросил, что случилось.

Набирая в пипетку каких-то капель, лекпомша улыбнулась и ответила:

— Дура девка и больше ничего. Залила себе глаза чернилами. Милый, вишь, ей изменил. Охранник один. Так обидно стало.

Лекпомша двумя пальцами разжала веки девушки и влила в глаза несколько капель лекарства. Вместо глаз у больной были какие-то черные дыры.

— Это у нас частенько бывает, — добавила лекпомша.

Светлым морозным утром я сидел на воротах лагпункта и приколачивал только-что написанный лозунг. Сверху мне было видно, как два вохровца с винтовками ходили из барака в барак и, видимо, кого-то искали. По лагпункту бродили несколько заключенных, освобожденных лекпомшей от работы.

Вдруг морозную тишину резко прорвал выстрел. Я взглянул по направлению звука и увидел, что из одного женского барака бежит к забору мужчина, за ним — два вохровца: один из них на-ходу стрелял в воздух.

— Стой! Стой тебе говорят!,—кричали они беглецу. Я прыгнул с ворот и поспешил к месту происшествия.

Увидев, что удирать из «зоны», собственно, некуда, мужчина, не добежав шагов двадцати до забора, остановился и в одну секунду вытащил из-за голенища валенка финский нож. Вохровцы остановились недалеко от него и один из них скомандовал:

— Брось нож!

Вместо ответа беглец, оказавшийся молодым парнем-уркой, задрал телогрейку, затем — рубаху, и на глазах у всех полоснул себя крест-на-крест ножом по голому животу. Хлынула кровь.

— Не подходи ко мне! — крикнул он вохровцам. — Зарежусь!

Вохровцы топтались на месте, не зная, что делать. Толпа заключенных собралась вокруг парня и вохровцев. Какая-то девушка вырвалась из толпы и, смело подойдя к парню, обняла его за шею.

— Брось, Гриша, нож. Все одно ты погорел.

Но парень не бросил ножа. Он продолжал с ненавистью смотреть на охранников.

Кто-то из толпы рассказал, что парень этот — заключенный с соседнего лагпункта. Каким-то образом он проник к нам в «зону» и забрался в барак к своей возлюбленной, которая теперь стояла возле него. Вохровцы узнали про это по чьему-то доносу и выследили парня.

Один из вохровцев попробовал сделать еще два шага вперед.

Парень в ту же секунду еще раз полоснул себя ножом по животу. Кровь лилась ручьями, заливая парню штаны, валенки. Розовел снег под ногами. Возлюбленная больше не пробовала остановить его от самоистязания, она обняла его за талию и, положив голову ему на плечо, с такой же ненавистью и злобой, как и парень, впиалась глазами в вохровцев.

Как только вохровцы ступали вперед — парень резал себя. Лицо его бледнело все больше, и я видел, как мелко дрожала рука с ножом. Пошатнувшись, он с размаху ткнулся лицом в снег, разбросав руки в стороны. Не успевшая удержать тяжелое тело, девушка повалилась вслед за ним. После перевязки, сделанной наспех лекпомшей, вохровцы погрузили парня на сани и повезли на лагпункт, с которого он удрал. Возлюбленную его посадили в холодный карцер.

VI

Несколько дней ушло на изготовление стенной газеты. Потом по моему эскизу была сооружена арка над входом в «зону». На арке я написал: «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства (Сталин)». Под аркой из фанеры был сооружен бешенно мчащийся поезд — символ нашего строительства. Между делом, по просьбе Роскина, сделал две акварели для его любовницы и по его же просьбе на огромном картоне нарисовал голую девушку, которую Роскин повесил над своей койкой. Одним словом, с моим приездом закипела «культурно-воспитательная» работа на 9 лагпункте.

По распоряжению Зотовой и под идейным руководством воспитателя Роскина, я написал на длинных лентах кумача двадцать лозунгов такого, приблизительно, содержания (тексты дал мне Роскин): «Досрочно закончим строительство Ухто-Печорской железнодорожной магистрали!», «Долой лодырей! Клеймим позором их!», «Не гони и не бей лошадь!», «Каждый, выкопанный тобою кубометр грунта — шаг к освобождению!», «Работа — твой друг, безделие — враг!», «Раз — лопатой! и — на тачку!» и т. д. и т. п.

Но с лозунгами вышло не совсем ладно. Целые полдня развешивали мы их по баракам. Для нашего барака Роскин выбрал два самых больших по размерам

полотна, и мы прикрепили их на стенах. Один — над входом, другой — над верхними нарами.

— Вот теперь воспитательная работа поставлена на «ять»! — ликовал Роскин. — Каждая мадам может читать, чего от нее требует партия и правительство... Я старый воспитатель и знаю что к чему надо.

Он победно осмотрел полотнища и заложил руку с молотком за спину.

— Посмотрим, как теперича пойдет работа. Вот увидишь — сразу улучшится.

Я выразил сомнение.

— Э-э, браток, — протянул Роскин, — ты еще не знаешь, как действует на заключенного человека плакат.

Ночью оба лозунга женщины сорвали и с молниеносной быстротой наделали из них портянок, платочков, поясков. Тоже самое проделали и обитательницы других барачков, где были развешены лозунги.

Роскин пришел в бешенство.

— Пересажаю всех вас, чертей! — кричал он вечером, стоя посреди барака. — Всех загоню в изолятор.

— Изолятора не хватит на всех-то, — спокойно возразила гитаристка, хлебая из котелка баланду.

— За такое дело вы новый срок можете сцапать! Я вам покажу, как правительственные лозунги срывать. Вы бы еще штанов из них понаделали!

— А я уж себе сшила, — невинно заметила Валентина Дождева.

— Ага! Сшила?! Сымай сию минуту!

Роскин зверем бросился на Валентину, но та, ловко ускользнула от его растопыренных рук, перескочила через железную печку и юркнула в дверь. Роскин постоял секунду, тупо глядя на заиндевелую дверь и, повернувшись лицом к бараку, пообещал:

— Это вам даром не пройдет...

И ушел к себе в кабинку.

— Лозунгами, Роскин, вы людям не поможете, — сказал я ему, когда он немного успокоился.

— А что же делать?

— Сократить рабочий день, улучшить питание и создать хотя бы относительно человеческие условия жизни. Как бы то ни было, а вы имеете дело с живыми людьми и надо это всегда помнить, тем более, что вы сами заключенный.

Роскин отмахнулся.

— Э-э, все это разговорчики. Начальство лагеря рассуждает просто: давай работу и боле ничего! А как живут заключенные — они про это мало думают. Все считают, что я дурак и ничего не вижу. Я, брат, все вижу! Все вижу!

VII

Свое пребывание на 9-м лагпункте я закончил через десять дней довольно бесславно. С делегацией, состоящей из нескольких женщин-политических заключенных, я отправился к Зотовой с требованием сводить в баню обитательниц четвертого барака; не мывшихся два месяца и окончательно завшивевших. Зотова заявила нам, что существует на этот счет у нее порядок, и четвертый барак пойдет в баню по расписанию. Тогда одна из женщин сунула руку за пазуху, поскребла там и, вытащив горсть вшей, показала их Зотовой. Та брезгливо отодвинулась и крикнула, чтобы мы вышли. Я будто бы нечаянно подтолкнул руку женщины, и вши серебристым дождем посыпались на пол.

— Взять его под конвой и отправить назад в Чинья-Ворык! — истерически крикнула Зотова.

.....

...Падало в мутной дымке морозное солнце за зубчатую стену леса. Тихо, как свечи в церкви, потрескивали ели и сосны. Скрипел снег под ногами.

Я шел впереди конвоира и бессильная злоба сжимала мне горло. 9-й лагпункт оставался позади, уходя, как в могилу, в сугробы снега.

В Т Е А Т Р Е

I

В штабе II-го отделения строительства жилось мне не плохо. Работой меня Толдин не перегружал, жил я в довольно сносном и относительно чистом бараке, но страх попасть снова на «Штошестидесятый пикет» не покидал меня. Чтобы окончательно замести следы побега, надо было вообще уехать из II-го отделения. Отчасти поэтому я и послал заявление в Княж-Погост с просьбой принять меня в театр в качестве актера. Но время шло, а ответа не было, и я совсем было потерял надежду, как вдруг в феврале Толдин вызвал меня к себе и объявил, что на меня пришел «наряд» из Княж-Погоста. Наряд вначале был послан на Веселый Кут, а оттуда препровожден в Чинья-Ворык.

— Разве ты актер? — поинтересовался Толдин.

— Актер, — солгал я.

— А я думал только художник... Ну, ладно! Придется тебе ехать. Наряд подписан заместителем начальника Управления Лагеря, а с Управлением спорить не приходится. А то бы я тебя не отпустил...

И на другой же день вместе с двумя другими заключенными, ехавшими тоже по специальному вызову в Управление Лагеря, но в конструкторское бюро, я выехал в товарном вагоне в Княж-Погост: железная дорога от Чинья-Ворык до Княж-Погоста уже была построена. Нас сопровождали конвоиры.

Административный центр лагеря — Княж-Погост — я не видел почти два года. Я был поражен тем, как

он разросся за это время. Возле вокзала выросло огромное паровозное депо, за депо стояли какие-то новые деревянные здания, двух-и-трехэтажные, высились новые фабричные трубы... Разросся за колючей проволокой и знаменитый «Комендантский лагпункт», на котором мне предстояло жить.

После выполнения обычных формальностей, связанных с приемом перемещаемого заключенного, мне назвали номер барака и фамилию моего прямого начальника из заключенных — режиссера театра.

Как сейчас помню: был ясный, солнечный день. Войдя в барак, я был поражен чистотой и обилием света в моем новом жилище. Двухэтажные койки покрывали байковые одеяла, из-под которых выглядывали простыни. Стояли скамейки, табуретки, столы. Барак был почти пуст — рабочее время. Высокий, широкоплечий старик — «дневальный» встретил меня приветливо. Показал мне свободную койку, принес со склада одеяло и простыню и угостил чаем. От него же я получил и первые сведения о житье-бытье на «Комендантском лагпункте». Рабочим, как всегда, жилось плохо, но лучше, чем на других лагпунктах. Наш барак считался «аристократическим», здесь жил исключительно инженерно-технический персонал Управления Лагеря. Здесь же помещались и актеры театра. Продовольственный паек был отличный.

Вечером вернулись с репетиции актеры, обступили меня, забросали вопросами. Я держался неуверенно, сознавая свое ложное положение, но дал себе слово во что бы то ни стало удержаться на новом месте. Режиссер, Александр Иосифович Хавронский, оказался милейшим и добрейшим человеком. Невысокого роста, с густой черной бородой и с поразительно умными и мягкими глазами — напоминал библейского старца. Впрочем, ему было не более 50 лет. Он пожелал побеседовать со мною наедине и отвел меня в угол барака. Я страшно волновался.

— Вы пишете в своем заявлении, что играли в «Реалистическом театре» в Москве, — начал он. — Какие же роли вы играли?.. Я хорошо знаю этот театр...

Я понял, что я не могу, не имею права лгать этому человеку. Минуту я молчал, мучительно обдумывая ответ, а он сидел, курил, вопросительно поглядывая на меня. Я не выдержал и, сбиваясь и путаясь, перебегая с одного на другое, быстро стал рассказывать ему всю мою историю. Не знаю, как это получилось, — просто я увидел перед собой такого же политического заключенного, как и я, видел, что он умен и интеллигентен, интуитивно почувствовал, что он и порядочен, и решил, что он меня не выдаст. Я сказал, что я не актер, что играл только в любительских спектаклях, да танцевал в лагерной «концертной бригаде», что в «Реалистическом театре» бывал только в качестве зрителя. Рассказал о попытке к побегу из лагеря, о «Стошестидесятом пикете» и о том, что я там видел и что пережил.

Выслушав меня, он долго молчал, потом улыбнулся, мягко, отечески, и слегка взял меня за плечо.

— Сколько вам лет, юноша?

Я сказал.

— Ну что ж, придется вам помочь... Сделаю все, что в моих силах. Ведь какую-нибудь маленькую роль сыграете?

Я готов был броситься ему на шею и расцеловать его. Условились, что о моей исповеди никто ничего не будет знать.

Экзамен в театре мне все-таки на другой день устроили. Но кроме самого Хавронского, второго режиссера Веры Радунской и нескольких актеров, в зале никого не было. Ободренный, я, кажется, неплохо прочел наизусть «Графа Нулина» Пушкина, вещь длинную, занимающую в чтении 15 минут. Радунская сказала комплимент моей памяти. Хавронский же при всех изрек:

— А знаете, юноша, ведь вы актер...

Так начался самый светлый период моей жизни в концлагере.

II

Нас было двадцать пять арестантов-актеров.

Двадцать пять арестантов — 18 мужчин и 7 женщин — которым завидовали 3.000 других арестантов, населявших «Комендантский лагпункт». Мы были избавлены от изнуряющей работы на морозе с лопатой в руках, мы вставали не в пять часов утра, а в 8 или в 9. Те же, кто любили читать по ночам, подымались и в 11 дня, т. к. репетиции начинались в 12 ч.

Небезынтересна и сама история возникновения театра.

Еще осенью был арестован начальник нашего Севжелдорлаг-а майор государственной безопасности НКВД Яков Мороз (а позднее — расстрелян). На его место Кремль назначил латыша, капитана Шемена. Капитан любил шик и помпу. Если предшественник его Яков Мороз трясся по таежным трактам на отвратительной отечественной машине «ГАЗ», то Шемена разъезжал на шикарнейшем «Шевроле». На Воркуту, на самый дальний край нашего гигантского лагеря, майор летал на учебном самолете У-2, скорость которого равнялась 130 км. в час. Капитан летал на удобном двухместном самолете Р-5, со скоростью 180 км. в час. При майоре, кроме любительского театра в Чибью и небольших концертных бригад, составленных из уголовников, никаких других увеселительных затей в лагере не существовало. Капитан же, сразу после своего нового назначения, стал перестраивать в Княж-Погосте бывший клуб в театр. Правда, театр этот предназначался для развлечения администрации лагеря, для чинов НКВД, охраны и вольнонаемного инженерно-технического персонала. В сводках о ходе работ на строи-

тельстве Ухто-Печорской ж. д. магистрали, кроме всего прочего, значилось: «Строим театр». Ведь только подумать: в тайге театр!

В середине января переделка клуба в театр была закончена. И надо отдать справедливость — театр получился хороший. Восемьсот мест. Обширная, глубокая сцена. Артистические уборные. Паркетный пол и в зале и в фойэ. Все удобно, красиво, просто. Впрочем, почему бы театру и не быть хорошим? Ведь строительство шло по проекту известного московского архитектора, скромно отбывавшего свой каторжный срок на «Комендантском лагпункте».

Параллельно со строительством театра летели заказы в Москву на костюмы, бутафорию, грим, реквизит и т. д. Подыскивались актеры среди заключенных. Девушка-уборщица рассказывала Хавронскому любопытный разговор по этому поводу между капитаном Шемена и начальником культурно-воспитательного отдела Чехониным, подслушанный ею. Капитан настаивал на том, чтобы актеры были профессиональными актерами из политических заключенных. Чехонин резонно замечал, что на этот счет есть указание Москвы: на подобного рода работу можно брать только уголовных преступников. Рассерженный капитан якобы крикнул:

— К чорту приказ! Хочу видеть настоящий, культурный театр! Хочу видеть лица, а не уголовные хари!

«Лица» не заставили себя долго ждать. Они вынырнули, как из-под земли, едва только Чехонин копнул муравьиную кучу арестантов. Первым вынырнул московский кино-режиссер А. И. Хавронский, автор нескольких фильмов: «Мост через Выпь», «Круг» и «Темное царство». В последнем фильме автор допустил некоторые идеологические ошибки, за что и был посажен на 8 лет в концлагерь. На «Комендантском лагпункте», до своего назначения на должность режиссера, он работал в гвоздильной мастерской — делал из проволоки гвозди.

Вслед за ним вынырнули и другие мастера сцены и экрана. Появилась Вера Николаевна Радунская — режиссер студии Н. П. Хмелева. Выросла гигантская фигура молодого кино-актера К. Келейникова. Потом пошел народ помельче — актеры провинциальных сцен и, наконец, совсем мелкий — вроде меня.

Долго шли споры о выборе пьесы. Чехонин настаивал на постановке «Славы» В. Гусева, капитан Шемена — на «Чужом ребенке» В. Шкваркина, Хавронский — на «Потопе» Бергера, ссылаясь на то, что постановка обойдется дешевле других, т. к. все три действия проходят в одной декорации. Победил вначале капитан — решили ставить «Чужого ребенка», но вдруг выяснилось, что пьесы в лагерной библиотеке нет. Не оказалось и «Славы» Гусева. «Потоп» же был в рукописи у В. Н. Радунской. Капитан махнул рукой и разрешил ставить «Потоп» Бергера.

Когда я приехал, репетиции уже шли полным ходом. Мне дали небольшую, эпизодическую роль в «Потопе», но однажды, по дороге в театр, Хавронский подошел ко мне и сказал:

— Плохо, очень плохо с ролью Фрезера... Не хотите ли попробовать?

Я стал отказываться — боялся, что не справлюсь со столь ответственной и большой ролью. Хавронский настаивал. Я попробовал, и дело пошло на лад.

Славное это было время! Вместо работы на морозе с лопатой в руках, мы целые дни проводили в теплых, уютных помещениях театра. А вечером, когда приходил вооруженный конвой, мы с великой неохотой отправлялись за колючую проволоку. И, — что грех таить, — между молодыми людьми и девушками начались романы. Хавронский смотрел на это сквозь пальцы, хотя любовные истории грозили гибелью всему театру.

Та часть труппы, которая не была занята в «Потопе», готовила под руководством Веры Радунской мелкие пьесы А. Чехова.

Хавронский признавал метод Станиславского. Целый месяц шла работа над пьесой «за столом». От каждого актера Хавронский добивался глубокого и полного понимания «подтекста», и только после того, как он добился этого понимания от каждого из нас и убедился, что все мы на своих местах, начали репетиции на сцене. И вот тут-то мы не узнали нашего добрейшего Александра Иосифовича. Он кричал, бросал на пол тетрадку с мизансценами, стучал клюшкой по режиссерскому столику...

— О'Нейль... О'Нейль! Как вы подходите к Фрезеру? Я вам тысячу раз говорил, что не по левую сторону обходите стул, а по правую. Человек ходит по прямой, а не по кривой! Только пьяные ходят по кривой...

— Фрезер, что у вас с руками? Куда вы ими тычете? Ведь вы нос разобьете Лицци...

— Бир! Как вы вермут пьете? Помилуйте, ведь это же не водка!

— Лицци! Да поцелуйте же вы Бира по-настоящему... Разве это поцелуй? Мазня!.. Небось за кулисами куда как ловко поцелуи получают, а на сцене стыдно смотреть на вас... Нет уж целуйте, целуйте, нечего!..

Незадолго до генеральной репетиции Хавронский, рассерженный моими непослушными руками, посетовал:

— Прямо не знаю, что делать с вашими руками... Послушайте, вы случайно не видели в роли Фрезера Михаила Чехова?

— Нет, Александр Иосифович, не видел.

— Так вот, этот замечательный актер перевязывал палец на левой руке грязным бинтом... Вы понимаете деталь-то какая! миллионер и грязный бинт на пальце! Да ведь тут весь Фрезер, как на ладони... Ну, а вам этот бинт нужен, видимо, по другому поводу: трогайте его, поправляйте, перевязывайте... Вот и занятие будет рукам вашим. Попробуйте!

Пришлось перевязать палец.

Работа была кропотливая, упорная, но радостная. Все мы, 25 арестантов молили Бога только о том, чтобы Он ничего не менял в нашей судьбе. В будущем же намечались совсем светлые перспективы. После генеральной репетиции, на которой присутствовало человек 20 из администрации, к нам за кулисы пришли 2 женщины — жена начальника 3-го отдела и ее дочь, и передали нам букет цветов. Мы поблагодарили и намекнули, что цветы де цветами, но иногда подносят бедным актерам и хлебушка — всяко бывает. И на другой же день мы получили корзину с белым хлебом, маслом и колбасой. И даже бутылку водки. Она лежала, аккуратно завернутая в газету, на самом дне корзины.

Стояла погожая, весенняя пора. Захлебываясь, токовали в тайге тетерева. Тянули над перелесками длинноносые вальдшнепы. В одну особенно теплую ночь вскрылась река Вымь и широко разлилась по тайге.

В день премьеры весь комендантский лагпункт был в волнении. Уже не было к нам той зависти, которая распяляла заключенных раньше. Все 3.000 человек переживали вместе с нами предстоящее событие и желали нам успеха. Останавливали на дороге, просили:

— Братцы, уж вы там дайте жизни... Покажите начальникам, на что заключенный человек способен!

Утром, в день торжества пришел к нам в барак знаменитый жулик Федька. Подошел к Хавронскому, поздоровался, помолчал и вдруг изрек:

— Значит, старичок, рванешь сегодня?

— Да, надо будет, Федя, рвануть...

— Главное, не трусь, папаша... Ты что — лешего играешь?

— Нет, Федя, первую красавицу.

Федька дурашливо загоготал.

— Да какая же из тебя красавица? Совсем ты, папаша, с ума сошел. — И, недоуменно покачав головой, подошел ко мне:

— Бреешься?

— Бреюсь.

— А кого играть будешь?

— Миллионера, брат...

Федька опять загоготал и, сдвинув на затылок кепку, усумнился:

— Ой, Серёга, не похож ты чтой-то на богача! Рубаха в заплатках, штаны с бахромой, старые. Нет, не получится миллионера из тебя, загубишь ты все дело. Загубишь! Век свободы не видать — загубишь!

— Не мешай... — просил я.

— Да ты послушай. Я ведь добра вам желаю. Да дело-то, видно, у вас не клеится... Один на старости лет, ума рехнувшись, красавицу вздумал из себя корчить, другой — без штанов миллионера изображать... Не будет толку!

Федька долго еще балагурил, но за балагурством этим и болтовней скрывалось то же волнение за нас, что охватило и все население лагпункта. Всем хотелось, чтобы мы имели успех. Это волнение передалось постепенно и нам. Особенно сильно я его почувствовал в театре, в гримерной. Роясь в коробке с гримом, я долго не мог положить гуммозовую нашлепку на нос. В довершение всего нервировал нас еще электрический свет. Он часто гас и по две-три минуты мы сидели в темноте. Но, помню, что с момента, когда поддерживающий меня за локоть помощник режиссера шепнул «пошел»... и отпустил мой локоть, а я перешагнул порог «бара», волнение это как рукой сняло, и я в собранном состоянии вышел на сцену.

Первое действие прошло прекрасно. Пьесу мы играли наизусть. Роли знали не только свои, но и чужие. Ни один из нас не погрешил ни в тексте, ни в мизансценах. Красивые декорации, прочная бутафория, хороший реквизит помогали актерам, и все шло необыкновенно ладно и четко.

В антракте, когда смолкли аплодисменты, мы бро-

сились обнимать нашего милого старика. Хавронский шутиливо отгонял нас и ворчал:

— Нет, вы мне доведите пьесу также хорошо до конца, как начали, а тогда и обниматься лезьте...

Единственно, что огорчало нас, это — публика. Первые десять-пятнадцать рядов были заняты «сильными мира сего» — капитанами и лейтенантами госбезопасности, вольнонаемными инженерно-техническими служащими и их семьями. Среди них восседал, алая петличками френча, сам Шемена. А дальше — сплошная серая масса лагерных охранников. Они во время действия кашляли, сморкались, лущили семечки, сплевывали на пол и как-то глупо хихикали в далеко не смешных местах пьесы.

Пошел второй акт.

Здесь я должен сказать несколько слов о самой пьесе. Действие происходит в баре на берегу Миссисипи. Внезапно поднявшаяся вода в реке делает пленниками небольшую кучку посетителей бара. Все они очень различны по своему положению в мире. Тут и богачи — Бир и Фрезер, и хозяин бара, и негр-слуга Чарли, и случайно забредший музыкант, и адвокат О'Нейль, и проститутка Лици. Перед лицом смерти, когда вода подходит к самым дверям бара и спастись становится невозможно, все предрассудки, порожденные человеческими слабостями и пороками, исчезают как дым, и в людях остаются только подлинно-прекрасные начала. Но как только минует опасность, снова надеваются непроницаемые, холодные маски. Пьеса хорошая, умная и глубоко трагическая.

К концу второго акта наступает кульминационный момент. В щель под дверь просачивается вода. Свет тухнет. Я стою на авансцене и зажигаю свечу. Все посетители бара смотрят на мою свечу, как на что-то страшное, последнее, за которой стоит уже смерть. Я чувствую, что я играю так, как нужно, я вижу, как мелко дрожат мои пальцы, держащие свечу, я

ощущаю панический страх на своем лице и понимаю, что настроение передалось всему залу — публика сидит тихо, напряженно, не слышно ни кашля, ни плевков.

— Все кончено... — говорю я, — электростанцию уже затопило.

Я поворачиваюсь спиной к зрителям и иду со свечей в глубь бара. И вдруг слышу страшный взрыв хохота! да какого — словно бомба разорвалась!

— Аха-хаха!

— Охо-хо!

— Аха-ха-ха!!!

Это смеялись охранники, смеялись до слез, хватались за животы, шлепали друг друга по плечам, подбрасывали в воздух фуражки...

— Аха-хаха!!!

— Охо-хо-хо!!!

— Тише, да тише же черти! — кричал капитан, стараясь успокоить публику. — Замолчите, я вам говорю!

Дали занавес.

Бледный, растерянный, готовый разрыдаться, я стоял, окруженный толпой актеров и старался понять случившееся. Меня крутили, поворачивали, осматривали костюм, грим, — все было в порядке. Я видел только злобные, враждебные, полные ненависти лица... Келейников схватил меня за лацканы смокинга, прижал к кулисам и, вздрагивая челюстью, злобно зашептал:

— Что вы там сморозили? Я вас спрашиваю: что вы там сморозили?

— Право, не знаю,... я ничего не знаю... — лепетал я, — все по тексту... честное слово, по тексту...

Присев на ящик, Радунская плакала, закрыв лицо руками. Кто-то довольно основательно ткнул меня кулаком под ребра.

— Оставьте, не троньте его... — вдруг раздался голос помощника режиссера Чесса.

Он растолкал актеров, взял меня за плечи и вывел из толпы. Потом повернулся и тихо сообщил:

— Он не виноват... Я только-что узнал в чем дело от самого Шмены... Оказывается, в Княж-Погосте каждой весной заливают разливом новую электростанцию... И это служит предметом насмешек уже несколько лет. Неудачно построили ее... И сегодня ее уже затопляет вода... Так вот и смеются наши зрители по печальной ассоциации...

И весело добавил:

— Не театры им, видно, надо строить и не электростанции, а воспитательные дома.

Этот дьявольский, нелепый смех был ложкой дегтя в бочке меда — он сильно омрачил наше торжество. Впрочем, третий акт прошел благополучно, и настроение наше вновь поднялось. Долго не смолкали аплодисменты, и раза три-четыре нас всех вызывали. Потом на сцену повалили зрители и начались поздравления...

А я все-таки спрятался за кулисы. На всякий случай.

III

«Потоп» мы сыграли четыре раза. И всякий раз, как только мне предстояло сообщать печальную весть об электростанции, у меня, что называется, поджилки тряслись. На втором спектакле опять смеялись зрители, но меньше, на третьем — еще меньше, на четвертом — лишь кое-где хихикнули: видимо, привыкать стали.

Чередуясь с «Потопом», группа Веры Радунской поставила три одноактных пьесы А. Чехова: «Юбилей», «Предложение» и «Медведь». Однажды, всей труппой дали сборный вечер, посвященный творчеству А. С. Пушкина.

Вечерами, в свободное от спектаклей время, играли в шахматы, читали, слушали радио-трансляционные передачи — включали нам, разумеется, только москов-

ские станции. Газеты нами зачитывались до дыр. Читали между строк — не пахнет ли войной. Питались хорошо, некоторые даже пополнили.

Однако, капитан Шемена, возгоревший в свое время идеей создания театра, также быстро и охладел к театру. Стал придирчив, брюзглив и однажды откровенно заявил Хавронскому:

— Долго вы мне будете подсовывать то классиков, то американцев? Немедленно приступите к постановке пьесы советского автора... А то к чертям разгоню театр!

И мы стали работать над «Платоном Кречетом» украинского драматурга А. Корнейчука.

Однако, надо сказать правду: театр доконал не капитан, а мы сами его доконали. И вот как это случилось.

Я уже упоминал о том, что в нашей среде появились романы; к сожалению, не только между заключенными, но между заключенными и вольнонаемными.

Дело в том, что истари в России к заключенным и ссыльным русский народ относился не как к преступникам, а как к пострадавшим. Еще в 1851 г. А. И. Герцен в письме к Ж. Мишле указывал, что «приговор суда не марает человека в глазах русского народа: ссыльные, каторжные слывут у него несчастными». Ту же мысль и даже примеры этому можно найти и у Ф. Достоевского в «Мертвом доме». И в наше время политические заключенные в Сов. Союзе в глазах народа лишь несчастные, но ни в коем случае не преступники. И если преступниками считали нас чины НКВД, то вольнонаемные служащие лагеря (инженеры, техники, врачи и т. д.), за редкими исключениями, относились к нам хорошо.

Наше же положение рабов-актеров было несколько романтично. Весь город знал нас по именам. О нашей игре спорили, писали в местной газете, не упоминая, конечно, о том, что мы заключенные. Были среди нас

подлинно-галантливые люди, например, К. Келейников, В. Радунская, М. Фрог. На сцене эти люди были хозяевами душ и чувств зрителей. А после спектакля грубый конвой с винтовками в руках гонит по улице пеструю толпу арестантов, и те же зрители с трудом узнают в этой толпе своих недавних кумиров на сцене. И тогда в сердцах рождалась жалость, а иногда — и любовь.

25 мая шла четвертая и последняя постановка «Потопа». Мы, молодежь, решили этот день отпраздновать за кулисами театра вместе с нашими подругами из вольнонаемных. Перед последним актом «Потопа» в просторной мастерской художника-декоратора Егорова был накрыт стол. В нашем распоряжении после спектакля было около часа — время, дававшееся нам на то, чтобы снять костюмы и разгримироваться. Еще в антракте нам передали из зрительного зала все необходимое для такого торжественного случая: цветы, закуски, водку. Сразу же после спектакля, наспех стерев грим, мы устремились в заветную комнату. Нас было четверо: актеры Келейников и Иванов, художник Егоров и я. Вскоре пришли и четыре девушки из вольнонаемных. Радостные, веселые мы плотно притворили дверь, поставили к ней стул, — ни одна дверь в театре не имела замков по распоряжению администрации — и быстро уселись за стол. Тут выяснилось, что не хватает рюмок. Я поспешно прошел в смежную полутемную комнату, где хранился театральный реквизит. Вслед за мной пошла одна девушка, Тоня Семенова, дочь вольнонаемного инженера-путейца.

— Давай вместе выберем самые красивые... — предложила она. — Где включается свет?

Я стал шарить рукой по стене, ища переключатель. В эту минуту в мастерской Егорова что-то загремело и послышалось какое-то движение. Я взглянул через открытую дверь и замер от удивления и испуга: нашу

компанию за столом окружила толпа охранников с наганами в руках.

— Заключенные! Руки вверх! — громко предложил один из них.

Келейников, Иванов и Егоров медленно подняли руки. Это всё, что мы видели из нашей засады с Тоней Семеновой. Девушка не растерялась, схватила меня за руку и вытащила вслед за собой из реквизитной в темный коридор позади кулис. И это нас спасло.

Было ясно, что кто-то донес охране о всей нашей затее. Дело приняло неприятный и шумный оборот. Взбешенный капитан Шемена специальным приказом по лагерю немедленно упразднил театр, а Келейникова, Иванова и Егорова посадил на три месяца в штрафной изолятор. Девушек же, застигнутых в мастерской Егорова, исключили из комсомола, и они вынуждены были уехать из Коми АССР. Ни Тоня Семенова, ни я не пострадали — нас товарищи не выдали.

Провокатор вскоре был узнан. Он оказался одним из актеров, заключенным Михаилом Шейном. Донес он из ревности к одной из девушек. При первом же коллективном походе в баню, мы его жестоко избили. Избили старым тюремным способом, как бьют провокаторов, а именно — перед экзекуцией накинули ему на голову одеяло, чтоб не знал, кто бил.

Так бесславно закончил свое существование театр в Княж-Погосте.

Оставшиеся не у дел актеры устраивались на новые места, как могли. Хавронский из режиссера превратился в уборщика барачков. Радунская стала прачкой. Актер Фрог устроился чертежником в конструкторское бюро при Управлении Лагеря. А я попал к старой подруге — тачке.

К Н Я Ж Н А

...Я сидел на земляном полу и выплевывал кровь, поглядывая в маленькое решетчатое окошечко, чуть приподнятое над молодой июньской травой. Видны были три больших брезентовых палатки, забор с колючей проволокой, и дальше — голубовато-серая Печора с низким противоположным берегом, уходящим в мутную дымку горизонта. Высоко, высоко плавал коршун. Дорого мне обошлась ссора с лагерными комендантами: сначала избили, потом — бросили в карцер.

В палатках напротив изолятора жили женщины. Каждое утро, на рассвете, я видел, как они лениво выходили из своих брезентовых жилищ, грязные, оборванные, с бегающими голодными глазами, строились парами и, когда приходил конвой, позвякивая лопатами, тихо брели на работу. Вечером, при желтом свете падающего где-то за Печорой солнца, эти серые тени еще тише плелись обратно.

Иногда, после работы, некоторые из них подходили к моему окошечку, соблюдая почтительное расстояние, допускаемое охраной, и мы переговаривались. По большей части, это были «блатные» — воровки, убийцы проститутки.

— Борода, какво сидеть? — спрашивали они, смеясь.

— Ничего, девочки, хорошо, — отвечал я им.

— Ты б бороду сбрил, а то, небось, лет двадцать пять, а выглядишь на сорок.

— А вот вам зимой, безбородым мороз щеки нащиплет, тогда мне позавидуете.

— А мы, знаешь, что сделаем зимой? — следует похабщина, а за ней — взрыв хохота.

Разговор обычно заканчивался вопросом:

— Хлебца хошь?

— Хочу.

— Попроси у начальника.

Однажды, уже к концу моего срока наказания в карцере, мимо проходила девушка в глухой черной кофте и серой казенной юбке, высокая, стройная, с красиво посаженной белокурой головой. Шла она медленно, глядя под ноги, и на фоне багрового заката четко вырисовывался ее правильный профиль. Мне захотелось ее окликнуть, и я окликнул.

Девушка оглянулась. Я увидел красивое лицо с большими светлыми глазами.

— Скажите, вы не знаете, привезли продукты или еще нет?

— Этого я вам не скажу, не знаю. Во всяком случае, мы сидим попрежнему голодные.

Интонация и голос выдавали в ней человека не из «этих».

Откуда-то невидимый мне голос коменданта крикнул:

— Эй ты, красотка! Шагай дальше! Нечего возля изолятора торчать.

Девушка быстро пошла к палатке. Оглянувшись, крикнула:

— До свидания!

Я махнул ей рукой.

Какая славная!..

Вскоре меня выпустили. Ослабевший, я с трудом возил тачку, едва не падая вместе с ней. Придя с работы и жадно съев свой каторжный ужин, я валился на свое место на нарах у стенки.

Боже, до чего живуч человек!

За стеною брэнчала гитара. Пели.

...Повезут меня в «черной вороне»
С двумя попками прямо в тюрьму,
И посадят меня в пересылку
Эх, за решетку и крепку стену-у...

Там жил комендант из жуликов с отчаянной кличкой — Чума. Высокий, красивый парень, весь исколотый синей татуировкой, наглый, самоуверенный и почти всегда пьяный. Пил он одеколон, за отсутствием спирта. Будучи сам заключенным, но возглавляя лагерную милицию, он с какой-то зверской жестокостью обращался с другими заключенными. Впрочем, это общее правило: начальники из заключенных всегда хуже вольнонаемных. Была у него лагерная жена, воровка, Танька-Курочка, молоденькая женщина, страшно ревновавшая Чуму. Бил он ее часто и нещадно. Бил чем попало, что подвернется под руку: сапог ли, палка ли, котелок ли — все летит в Танькину голову или спину.

Жил Чума в концлагере так, как, никогда, видимо, не жил на воле. У него было все: и хлеба вдоволь, и масло, и печенье, и конфеты. Часто устраивались попойки. Собиралось жулье со своими женами, и всю ночь шла отвратительная оргия. Тонкая фанерная перегородка, отделявшая наш общий барак от комнаты Чумы, не защищала меня от пьяных ругательств и криков: я забирал свой бушлат и шел спать на пол в другой конец барака. Я не переносил этого гнуса; да и он меня не особенно долюбивал. Кажется, он был болен сифилисом.

Как-то возле кухни я снова увидел девушку с косами.

Она стояла, прислонившись к бревенчатой стене, в очереди. От моего приветствия нервно вздрогнула.

— А-а... вы уже вышли? — рассеянно спросила она.

— Уже четыре дня, как вышел.

Мы быстро разговорились.

— А у меня, знаете, горе, — сообщила она.

— Что такое?

— Мама совсем разболелась.

— Как? Ваша мама здесь? В лагере?

Я почему-то не решался задать простой вопрос, такой естественный в лагере — за что? Какое преступление совершила эта девочка и ее мать? Но она, угадывая мои мысли, помогла мне:

— Я княжна, княжна... — она назвала известную русскую фамилию.

— Папу я не помню, — продолжала она, — он давно был арестован и расстрелян. А нас выслали из Москвы в Сибирь. А в прошлом году арестовали и маму и меня. Маму приговорили к десяти годам, меня — к восьми. Только мама стала совсем плоха, все лежит...

Мы подружились с Верой. Я украдкой, чтобы не попасть в лапы комендантам, ходил в женский барак навещать Веру и её мать. Ольга Николаевна — мать Веры — лежала в самом конце барака на общих нарах, покрытая стареньким, рваным одеялом. У нее было сильное общее истощение. Еще не старая — она выглядела старухой. Когда-то красивое лицо, теперь было худым, обтянутым желтой кожей, с впалыми висками. Говорила она медленно, слегка грассируя, а когда хотела, чтобы ее не понимали окружающие, в разговоре с дочерью прибегала к помощи французского языка.

Изредка заходил франтоватый фельдшер с длинным хрящеватым носом, давал какие-то порошки и пилюли Ольге Николаевне. На вопрос Веры: нельзя ли больную отправить в лазарет или, хотя бы, улучшить ей питание, он разводил руками.

— Лазареты забиты больными. Мы имеем приказ лечить больных на местах. А в отношении питания — пока я ничем не могу помочь, так как ничего не имею в этом роде...

Чем я мог помочь им? Иногда, отрывая от себя, приносил кусок хлеба. Ольга Николаевна догорала. Приходя с тяжелой работы, дочь садилась на нары

около больной и стерегла каждое ее движение, каждое желание. Часто, выйдя из барака, она забивалась куда-нибудь в уголок и плакала.

— Что же делать? Что же делать? — в отчаянии повторяла она, — мама умрет, если не улучшить ей питания.

Состояние Ольги Николаевны становилось все хуже. Появились первые вестники цынги — красная сыпь на ногах.

Как-то мы сидели с Верой на бревнышках. Подошел Чума.

— Ну как, княжна, делишки? — спросил он, хлопнув ее по плечу.

Вера вздрогнула и стряхнула руку.

— Как вам не стыдно? Оставьте...

Чума расхохотался.

— Привыкай, княжна, привыкай. Лагерь — не у тещи в гостях. А ты чего с бабой сидишь? — вдруг обратился он ко мне. — Ты знаешь, что за это — изолятор? Иди отседова. Если еще встречу — опять ведь в карцер посажу.

— Я и так четыре года сижу.

— Мало. Вас, чертей-политиков, совсем не надо выпускать. Иди, иди... Пшёл!

Я ушел, Вера хотела пойти за мной, но Чума схватил ее за руку.

— Стой, княжна! Я хочу с тобой поговорить. Как дела у твоей матери? Хочешь, я ей помогу. Масла дам, хлеба. А то ведь загнетса. Фельдшер был сегодня?

Вера стала ему рассказывать о матери. Я отошел и разговора не слышал. Вдруг, вся вспыхнув, она вырвалась и побежала. Он стоял, расставив ноги, жевал папиросу и тихо смеялся. Я обошел палатку и встретил её у двери.

— Что случилось?

— Ах, какой он ужасный...

— Что он сказал, Вера?

— Гадость, конечно. Что он может хорошего сказать. Вспомнить страшно.

Чума не отставал. Приходил в барак и подолгу болтал в Верой и Ольгой Николаевной. Его посещения были им неприятны, но что они могли сделать? Гнать его — значит ухудшить к себе отношение лагерного начальства. А оно может всё сделать, всё, что захочет.

В семейной жизни Чумы намечался разлад. Все чаще и чаще я слышал из-за стены истерический голос Таньки:

— Сука! Я ей глаза повыкалываю... И тебе рожу ошпарю.

— Замолчи! — гудел Чума. — Замолчи, я тебе говорю.

— Не замолчу, не замолчу!

— А-а... стервоза...

Раздавался удар. Потом гремел опрокинутый стол, звенели миски.

— На... на... на! — приговаривал он с каждым ударом.

Придерживая рукой кровавый рот, Танька выбежала из барака и кричала на всю тайгу:

— Все равно, все равно я тебе жить с ней не дам! Удавлю и тебя и ее!

Вокруг Таньки собирались арестанты и хохотали.

— Ату его! Возьми!..

— Курочка, ты не поддавайся! Держись крепче за свое бабье дело.

— Лопатой его по горбу, Танька...

Выбегал взбешенный Чума, арестанты мгновенно бросались врассыпную, а он хватал Таньку за волосы и тащил ее по земле назад в барак.

Ольга Николаевна уже не поднималась с нар. Вера ходила растерянная, задумчивая. Со мной она стала избегать встреч. Лично у меня случилась маленькая радость: я свалился с тачкой с пятиметровой насыпи и вывихнул левую руку. Это дало мне возможность от-

дохнуть от работы, и я целыми днями лежал на нарах, думал, смотрел на дырявый брезент палатки. По утрам и днем, в бараке, кроме меня и умирающего старика, никого не было. Тишина успокаивала, я блаженствовал.

Была Троица. С утра лил дождь, монотонно барабаня по крыше. Я лежал и наслаждался этой музыкой, навевавшей воспоминания.

К Чуме постучали.

— Заходи! — крикнул он.

Скрипнула дверь и кто-то вошел.

— А-а... наконец, — обрадованно протянул он. — Ну, садись... Да не туда, а сюда, на койку. Пришла значит?

— Пришла.

Что это? Вера, ее голос! Я вскочил.

— Не целуйте, только, не целуйте, ради Бога, — умоляла она.

Как сумасшедший, я выбежал из палатки и сел на камень. Дождь лил все сильнее и сильнее. Промокший, я, сам не зная зачем, пошел к Ольге Николаевне. В бараке у нее было тихо. Звенели мухи, колотясь о желтые грязные стекла. Она лежала, вытянувшись, закрыв глаза. Я подошел и сел у нее в ногах.

— А, это вы? — приоткрыв глаза, приветливо проговорила она. — Как ваша рука?

— Спасибо. Лучше.

Я ничего не соображал. Одна страшная мысль сверлила голову больно и назойливо.

— А мне плохо, совсем плохо, — сообщила она. И вдруг каким-то странным голосом, полным беспокойства, спросила:

— А где Вера? Вы не видели?

— Нет, Ольга Николаевна, не видел.

— Ее сегодня освободили от работы. Попросила начальника и, представьте, освободил. Добрые какие стали, скажите на милость, — пошутила она.

Разговор не клеился, я был рассеян. Ольгу Нико-

лаевну беспокоило отсутствие дочери. Я боялся увидеть Веру, заторопился уходить, но как-раз в этот момент убежала Вера, нагруженная свертками.

Лицо ее было совершенно белое, светлые глаза растерянно бегали по сторонам. Вся она была неестественно приподнята: и в голосе и в манерах — нелепая наигранность. Не замечая меня — или делая вид, что не замечает, — она бросила свертки на нары и быстро заговорила:

— Мамочка, милая, смотри... Здесь масло, конфеты, хлеб... и все это наше, наше, наше...

Ольга Николаевна смотрела на дочь, стараясь понять случившееся.

— Да, да... хлеб... белый хлеб...

И вдруг не выдержав роли, она закрыла лицо руками и навзрыд заплакала.

...А дождь все лил и лил, превращая в грязь серую, пахучую землю. Где-то на реке заунывно тянул женский голос:

Ах, начальничек, ах начальничек,
А-атпусти до дому,
За-аболею я цынгою —
Ни-и вернусь назад!» . . .

С Ч А С Т Ь Е

Мы рубили просеку вдоль речки Шар-Иоль. Повалка тайги — работа тяжелая, изматывающая. Правда, лагпункт наш был «молодой», рабочих то и дело снимали с повалки и ставили на строительство лагпункта: строились бараки, конюшня, баня. Кто рубил из проволоки гвозди, кто плотничал, кто делал кирпич-сырец¹...

Мне же как-то не везло: не брали меня ни в плотники, ни в гвоздоделы. И я стал подумывать — как бы схитрить. Скоро и случай представился.

Однажды, после ужина, в барак зашел десятник Кислов и крикнул:

— Печники по профессии есть?

Заклученные молчали.

— Есть! — ответил я.

Кислов быстро подошел ко мне.

— Какую кладку умеешь делать?

— Любую.

— Печь в бане можешь сложить?

Такого оборота дела я не ожидал и слегка растерялся. Одно дело — сложить небольшую печь в бараке, другое — огромную, с котлами и трубами в бане. «Эх, была-не была!».

— Могу. Что ж тут мудреного!

— Как фамилия?

Я назвал.

¹ Сырец — необожженный кирпич.

— Завтра с утра начинай... Сколько подручных надо?

Я задумался — а Бог их знает сколько!

— Двух! — храбро ответил я.

— Почему — двух?

— Один для замеса, другой — подавальщик.

— Ладно. Одного я тебе дам. Другого сам подбери. И ушел.

Я имел весьма смутное представление о строительстве каких бы то ни было печей, тем более — банных. Правда, я как-то работал подручным печника при кладке печи в доме начальника 6-го лагпункта, но только два дня. И в памяти осталось лишь то, что было у меня перед глазами: в корыте куча глины с песком и водой, и я всё размешиваю лопатой. Оставалось одно — найти настоящего печника в помощники.

Я ходил по баракам и покрикивал:

— Эй, братцы, печники среди вас есть?

Подходили многие, но я им всем давал отвод по той простой причине, что уж очень они чем-то смахивали на меня в своих познаниях в печном искусстве. Наконец, я вспомнил, что в седьмом бараке живет человек с прозвищем Печник. Ведь не могли же человеку так просто дать кличку!

Это был небольшого роста, с бородкой клинушкой, юркий мужичок Левушка. Мы быстро подружились и сговорились. Мужичок, видимо, кое-что понимал в своем мастерстве, даже в лагерь попал, в некотором роде, за это мастерство. В городе Калининe сложил мужичок печь в какой-то артели им. Сталина. Артель не доплатила ему 23 рубля. Три недели ходил Левушка за своими кровными денежками — не платят. Тогда — выпил водочки, сочинил частушку, пришел под окна артели и пропел:

Дорогой товарищ Сталин,
Я пришел к тебе не зря:

Получить с тебя немного,
Только двадцать три рубля.

— Вместо артели ему заплатил НКВД, заплатил с лихвой: дали пять лет.

С рассветом мы с Левушкой пришли в новую баню и нашли там нашего третьего компаньона. Он оказался китайцем, очень слабосильным и скверно говорящим по-русски. Сидел он, кажется, за контрабанду опиумом.

В бане хорошо, славно пахло смолистой сосной. Все материалы для нас уже были привезены с вечера — глина, песок, кирпич, огромный котел, трубы и т. д. Мы с Левушкой наскоро составили чертежик, послали китайца за водой и работа закипела.

Часа через два пришел Кислов.

— Ну, как дела?

— Все в порядке, — отвечал я. — Вот только, Яков Захарыч, кирпич скверный. Нельзя ли настоящего достать?

— Только сырец, другого нет. И вот что — вы поторапливайтесь. Люди завшивели — мыться негде. Чтoб через неделю закончили.

Жадный до курева, китаец протянул руку.

— Твоя нам махолка давал, тогда можно быстло.

Десятник поморщился, отсыпал из кисета махорки и ушел.

Золотые дни настали для нас. Работа легкая, над головой крыша и регулярный паек хлеба — 800 граммов в день. С ужасом мы вспоминали повал леса на трассе, где, облепляемые комарами, под палящим солнцем, дождем, в нечеловеческом труде зарабатывали тот же кусок хлеба и с ужасом думали о том времени, когда печь будет выстроена и нам придется снова возвращаться на трассу. Поэтому, несмотря на брань десятника, мы всячески затягивали кладку. Через неделю вывели лишь полпечи и начали вмазывать котел. Зато наши лица заметно округлились.

Одно огорчало меня: я стал сомневаться в мастер-

стве Левушки. Он часто задумывался, то и дело производил измерения и раза два разбирал основание дымохода. А когда начали вмазывать котел, то вдруг он решил начисто переложить поддувало, для чего пришлось выломать половину кубического метра готовой кладки. Когда же печь достигла двух третей высоты и довольно ясно вырисовалась ее кособокость, то даже китаец неодобрительно заметил Левушке:

— Твоя мало-мало врет.

— А ведь в самом деле, Левушка, есть небольшой просчет, — подтвердил я.

Десятник же разбушевался не на шутку.

— В карцер отправлю! — кричал он. — Не умеете, так не беритесь.

— Сырец, Яков Захарыч, ничего не поделаешь, — оправдывался я.

— Головы у вас сырец! — шумел десятник.

— Ничего, Яков Захарыч, — утешал его Левушка. — Дополнительную кладку сбоку положим пол-кирпичика, она и выравнивает.

В окончательное уныние пришел я, когда печь была готова. Пришел — по двум причинам: во-первых, наступило время отправляться на трассу, во-вторых, от неосторожного и таинственного сообщения Левушки. Оказывается, он вспомнил, что при массивных кладках из сырца в углы пропускаются железные стержни. Никаких стержней мы не замуровывали, и я сразу похолодел при мысли о будущем нашего детища. Впрочем, работа была окончена и оставалось только одно — сохранить тайну кладки.

Открытие бани было торжественным. Первыми пожелали помыться начальник лагпункта и начальник охраны.

Баню мы затопили с утра. Дым упорно не шел в дымоход, шел через поддувало прямо в баню. Кашляя, задыхаясь, мы поминутно выбегали на волю подышать свежим воздухом и также упорно Кислов предсказывал

нам карцер. И вдруг, — чудо — дым пошел в трубу. Загудело поддувало, вода стала нагреваться и к полудню, когда пришли «начальнички», баня была истоплена. Пока они мылись, а мылись они долго — часа два, вокруг бани стали собираться другие лагерные аристократы, рангом пониже, со свертками свежего белья в руках: коменданты, нарядчики, десятники. Ожидая, деловито осматривали сруб, конопатку, предбанник, лежали на траве, курили.

— Славная баня...

— Ничего себе.

Пришел повар, жулик, со странной фамилией — Пушкин. Заглянул, приложил руку козырьком к окошечку, деловито осведомился:

— Каменка есть?

— Каменки нет, — ответил я.

— Тогда ваша баня ни хрена не стоит.

Плюнул и ушел.

Распаренные, красные, довольные вышли «начальнички» из бани. «Сам» похлопал меня по плечу и изрек:

— Молодцы.

Икнув, добавил:

— Вот что: назначаю тебя заведующим баней, а тебя, — ткнул он пальцем в китайца, — прачкой. Стирать — чтоб как в Китае. А тебя, старичок, — водоносом и дровоколом.

Вечером, в бараке, товарищи поздравляли нас. Мы же просто ошалели от счастья. Левушка ходил из барака в барак и всем рассказывал «как это случилось», китаец за гимнастерку выменял у лекпома эфиру, нанюхался и заснул под нарами. Я пошел (по приглашению — ведь я с этого дня становился тоже «аристократом») в гости к топографу пить чай.

— Повезло тебе. Блатное местечко оторвал... — говорил топограф. — Ты там, это, устрой мне вне очереди помыться...

— Счастье человеку выпало, — вздыхала, разли-

вая чай, курносая и ясноглазая Маша, любовница топографа.

На другой день мылась охрана, шумно, весело, с матерщиной. Мы с жаром, суетливо работали: я разбирал грязное белье и готовил новое, китаец в большом корыте стирал; стирал странно — ногами, сидя голый на лавке, и быстро, как мельница, перебирал ступнями. Левушка, вполголоса напевая:

— Дорогой товарищ Сталин,
Я пришел к тебе не зря.
Получить с тебя немного:
Только двадцать три рубля . . .

точил пилу под окном предбанника.

Вот оно — наше счастье!

Раза два я ходил смотреть на печь. Как будто все было в порядке. Сырец прокалился, окреп. Кое-где появились трещинки, но это было вполне законно при прокале печи. Охранники часто подбрасывали в топку дров, огонь был сильный, — это было нехорошо. Окалывать печь следует постепенно.

На третий день мылась бригада женщин-уголовниц. Вот эти доставили бездну хлопот. Ворвавшись в предбанник, они с писком и с песнями стали раздеваться. Не успел я оглянуться, как выбили окно и потребовали ветоши, чтобы заткнуть его. Пока я искал ветошь — поломали зачем-то скамейку, шум подняли такой, что хоть святых выноси. Только я передал им ветошь, как дверь из предбанника в мою коморку распахнулась и я — ахнул! В дверях стояла проститутка Женька, совсем голая, с лихо взметнувшимся голубым бантом в черных волосах. Верхняя часть тела ее пестрела татуировкой: змея, два раза обернувшись вокруг тела, просовывала голову из-за плеча и касалась раздвоенным языком левой груди. Притворяясь, что в руках у нее гитара и двигая пальцами, она басом, подражая мужчине, запела:

— Ах, ты, тетенька Настасья,
Раскачай-ка мне на счастье . . .

Пропев, тряхнула голубым бантом и, протянув руку, кратко приказала:

— Мыла!

— Ты же получила мыло! — возмутился я. — Все получили.

— Мне не хватит... — и, сделав непристойный жест, прошлепала босыми ногами к полке, схватила кусок мыла и, не торопясь, ушла в предбанник.

Потом, когда они вошли в баню, начались требования шаек, мочалок, которых и в помине не было, жалобы на отсутствие горячей воды, хотя воды было, хоть залейся.

Пришел повар Пушкин.

— Дай на баб взглянуть...

— Не могу, друг: глазка в двери нет, а открывать двери не советую.

Но Пушкин не послушался и открыл дверь. И в ту же секунду кто-то треснул его шайкой по лбу. Матерно выругавшись, Пушкин захлопнул дверь и пошел, пошатываясь, куда-то за баню, зажав рукой ушибленное место.

Однако, все эти мелкие несчастья оказались лишь прелюдией к главному.

Началось с небольшого.

— Эй, кран заело! Завбаней, кран заело!

— Ли, сходи посмотри, что там! — приказал я китайцу.

Но китаец решительно тряхнул головой:

— Моя туда не пойдя. Моя боится. Ходи вдвоем.

Я плюнул, вооружился на всякий случай молотком и вошел вместе с китайцем в баню.

В сумрачном, парном воздухе белели десятки женских тел. Шум поднялся невообразимый. Китаец шарахнулся было назад, но какая-то коротконогая, толстая

женщина, вся в мыльной пене, заключила его в объятия и громко крикнула:

— Стой, ходя! Теперь тебе каюк!

Китаец вырвался и побежал куда-то за печь.

Обороняясь молотком, я добрался до кранов. Маша, любовница топографа, тоже вся в мыле, усиленно дергала левый кран с горячей водой.

— Пусти! — попросил я.

Она отошла. Я попробовал — дернул: не открывается. Тогда я легонько, а потом сильнее ударил молотком, и вдруг кран напрочь отвалился, струя горячей воды ударила мне в колено. Я отскочил и, подняв глаза, с ужасом увидел, что снизу доверху, наискось, печь пересекает широкая трещина, увеличивающаяся на моих глазах. Секунда — и левый угол печи грохнулся на пол. Еще секунда — и грохнулся правый верхний угол, обнажив котел. Тогда медленно пополз и котел. Тут уж я не выдержал и — вскочил на лавку, боковым взглядом увидев, что и женщины прыгают на лавки.

Котел грохнулся, дымящаяся вода хлынула по полу. Еще секунда, — и от печи осталась лишь груда безобразных обломков.

Как я очутился на улице — не помню. Помню лишь, что по лужайке вокруг бани ошалело бегали голые женщины и кто-то истерически кричал:

— Китайца убило!..

А с горы бежала толпа охранников.

.....

Когда нас вели в карцер — меня, Левушку и китайца, с окровавленной повязкой на голове, — навстречу нам попался топограф.

— Ну, что? — насмешливо сказал он. — Не схватили счастья-то? Эх, вы, д-дураки!

З А Б А В А

Холодная река Ижма искусно вьется меж обрывистых берегов, то плавно течет на широких разводьях, то бурно срывается с каменистых порогов, вздымая белую пену. Над порогами плавно кружат серые чайки. Могучие лиственницы, подмытые половодьем, низко свисают над рекой, уцепившись корявыми корнями в бурый суглинок. То там, то тут всплеснется игривый сиг, покажет солнцу ослепительную, серебристую чешую и снова нырнет под воду. Щебечут птицы, суетливо прыгают по стволам елей рыжие белки; качаются, перешептываются высокие камыши, — тайга живет своей особенной, таинственной жизнью...

Казалось бы, мир создан здесь для того, чтобы и сама жизнь была такой же красивой, легкой, как полет чайки, спокойной, как зеленые лесные озера, могучей и здоровой, как тайга, но по какому-то непонятному, чудовищному закону земля здесь полита потом, слезами и кровью, глухие чащобы знают много трагедий, а высокая трава скрывает тысячи горьких могил.

Я сидел возле костра на желтом песке и варил картошку. Ткнувшись тупым носом в прибрежный гравий, стоял глиссер¹. Механик Кирилл, веснущатый, юркий паренек, битый час возился с испорченным мотором и никак не мог наладить зажигания. Смачно ругаясь, он покрикивал на флегматичного старика Пахомыча — личного «дневального» начальника вось-

¹ Глиссер — моторная плоскодонная лодка с воздушным винтом. Она обладает большой скоростью и очень удобна для передвижения по мелководным рекам.

мого лагпункта Казарина. Стоя по колено в воде, без штанов, Пахомыч равнодушно почесывал спину и время от времени подавал мастеру то молоток, то гаечный ключ, то подпильничек.

Саженья в двух от меня, там, где кончался песок и начиналась молодая шелковистая трава, пересыпанная цветами, развалился сам Казарин — единственный «вольный» гражданин из нас. Тучный, с розовыми одутловатыми щеками, он упивался бездельем, солнцем, собственной персоной и лениво и тихо спрашивал меня:

— В побеге бывал?

— Был.

— Ну, и что — не удалось?

— Поймали.

— Да-с, братец... из нашего лагеря не легко убежать, потому — место выбрано самое подходящее: тайга, болота, тайга... Били тебя после побега?

— Били.

— Так и надо. Прикладами били?

— Всем били... и прикладами тоже.

— Прикладами — оно больно получается... — задумчиво проговорил Казарин. — Ты давно в матросах?

— Четыре месяца.

— А убежать из лагеря еще раз не хошь?

— Зачем мне бежать? Теперь уж нет смысла.

Четыре года отсидел — остался всего год.

Казарин лег на спину и прикрыл лицо носовым платком.

— Да ведь всяко бывает... — сообщил он. — Был у меня один заключенный, тоже из студентов. Отсидел он семь лет, остался ему один месяц, и побег!

Он вздохнул и замолчал.

Мы везли этого борова по распоряжению заместителя начальника лагеря на Печору, где Казарину предписывалось «принять» новый этап заключенных, прибывших морем из Архангельска в Нарьян-Мар.

— Чудной вы народ, заключенные, — снова заговорил Казарин. — Как вас не балуй, все вы, как волки, в лес смотрите. Я, конечно, понимаю: жись подневольная — невеселая жись, но мы, начальство, помогаем вам... Вот к примеру: ты есть заключенный преступник. Так. А мы вот тебе доверяем и назначили тебя, к примеру, матросом на глоссер. Ты ходишь и едешь без конвоя... Ну, скажи: чувствуешь ли ты, что ты есть заключенный?

— Все время чувствую, гражданин начальник.

— Это через чего же ты, интересно, чувствуешь?

— Да ведь разные пассажиры на глоссере попадают — уклончиво ответил я, стараясь подладиться под его тон. — Вот вы, например, пассажир ничего себе... не злобный, не ругаетесь, разговоры со мной ведете и за человека считаете...

Стрела была рассчитана мною точно: Казарин сбросил с лица платок, присел и благодушно улыбнулся:

— И тебя считаю за человека, и дневального Пахомыча, и Кирюшку-механика. Все вы есть люди.

— Вот-вот! — подхватил я. — А есть другие начальники, так те придерживаются иного взгляда на нашего брата...

— Да, начальники бывают всякие, — согласился со мною Казарин. — К преступнику особый подход надо иметь. Я вот уж пятнадцать лет по лагерям и тюрьмам работаю...

Резко затарахтел мотор глоссера, раздаваясь многоголосым эхом по тайге. Старик Пахомыч с испугу побежал к берегу, запнулся и чуть не упал. Казарин хихикнул, встал, одернул гимнастерку, привычным жестом поправил ремень с браунингом и осанисто зашагал к глоссеру. Я захватил горячий котелок с недоваренной картошкой и пошел вслед за Казариным. Кирилл уже сидел за штурвалом. Поехали. На малом газе вырулили на середину реки.

Казарин бросил в нос лодки кожаную куртку, улегся и закурил. Пахомыч, прыгая на одной ноге, надевал штаны. Присев на крашенные стлани, я принялся за чистку картошки. Выровняв глассер, Кирилл дал полный газ. Тонко запел пропеллер, набирая скорость: лодка вздрогнула и, разрезая воду на ровные полоски, стремительно рванулась вперед. Замелькали прибрежные кусты и камыши, испуганно заметались кулички. Я взглянул на Кирилла. Ветер трепал его белокурые волосы, голубые глаза щурились от яркого солнца и ветра, нагоняя морщинки у век; от всей его невысокой мускулистой фигуры, от крепких загорелых рук, уверенно державших штурвал веяло здоровьем и кипучей молодостью. Мне нравился этот славный паренек. Всегда веселый, он жадно любил жизнь, ловко, но честно, выходил из всех переплетов, в какие частенько попадал из-за несколько дерзкого нрава, и всегда прямо говорил то, что думал. Из пяти лет, прожитых в лагере, он два года провел в штрафных изоляторах, из которых редко выходили арестанты живыми. В лагерь он попал за то, что на одном из собраний какого-то знатного пьяницу-стахановца назвал во всеуслышание «стакановцем». Об этом эпизоде он часто вспоминал и смеялся от души, когда передавал разговор со следователем НКВД по этому поводу.

— Я ему говорю: товарищ, мол, следователь, стахановец наш знатный, честное слово, ба-а-льшой любитель за галстук пропустить... Ну, чего, говорю в этом факте особенного? И я пью, и директор завода пьет, и главный инженер пьет, да и вы, пожалуй, при случае дернете... Забава одна! А следователь отвечает: «Ну вот, забава эта выйдет тебе двумя, а то и тремя годами лагеря». Только ошибся товарищ следователь: пятью она мне обернулась! Забава!

Мне особенно нравилась эта поговорка Кирилла. Слово «забава» он частенько произносил в конце фразы с легкой усмешкой и покачиванием головы.

Закусили картошкой с хлебом. Казарин угостил нас колбасой, выпил стаканчик водки и мгновенно уснул. Пахомыч заботливо укрыл его своим ватным бушлатом. Вскоре Пахомычу стало холодно — тонкая арестантская гимнастерка не защищала от пронзительного ветра, он ежился и ложился на дно лодки.

— Что, старый чорт? Начальника пожалел, а самдохнешь с холода! — ругался Кирилл. — Небось, он тебе водки не дал, а ты ему — бушлат. Забава!

— Он все же хозяин... — оправдывался старик.

— Хозяин, хозяин... — передразнивал Кирилл. — Вот через этого хозяина и окачуришься. Возьми мое одеяло... На! Бери!

Время бежало. Несколько раз поднималась щетинистая голова Казарина. Кисло улыбаясь, он оглядывался по сторонам и снова заворачивался в бушлат Пахомыча.

Наступили сумерки. Из-за темной стены леса лениво выползла огромная желтая луна. Над рекой за клубился туман, повеяло вечерней свежестью, густо запахло сосной. Нежные очертания прибрежных кустов вырастали в фантастические фигуры, угрюмо застывшие над черной водой.

На душе стало как-то тоскливо и тревожно.

Два раза мы предлагали Казарину пристать к берегу и заночевать, но он упрямо отказывался: ему к утру надо было попасть в Усть-Цильму. Ехать же в темноте по каменистой таежной реке со скоростью пятидесяти километров в час становилось опасно: налететь с такой скоростью на подводный камень, значило — сломать себе шею.

Кирилл убавил газ. Я видел, как беспокойно поблескивали его глаза, полуоткрытые губы обнажали две светлые, крепко стиснутые полоски зубов. Пахомыч равнодушно поглаживал бороду и молчал. Казарин спал.

Все чаще и чаще глиссер подпрыгивал на порогах. Мотор ревел, однотонно и надоедливо. Благополучно

миновав на малых оборотах Лосиный порог, мы выехали на широкое разводье, — впереди далеко расстилась водная ширь. Лунная дорожка пересекала ее, дрожа на мелкой зыби. Кирилл дал полный газ. Но едва стремительно рванулся глиссер, как сильный толчок повалил нас со скамеек, лодка наклонилась на бок, черпнула бортом воду, круто повернулась и медленно поползла в сторону. Кирилл мгновенно выключил мотор, и лодка стала. На наше счастье мы налетели не на камень, а на край песчаной отмели, чуть покрытую водой.

Во весь рост быстро вскочил Казарин и, прикрывая испуг громкой матерщиной, заорал:

— Ты... сволочь... смотри куда едешь!

Должно быть, он больно ударился головой о борт: ладонью тер белую щетину на затылке. Молча выхватив багор из моих рук, он встал на палубный нос лодки, уперся багром в песчаную отмель и налег на него всю грудью. Кирилл другим багром отталкивал корму. Шурша песком, глиссер медленно пошел назад. Казарин попытался выдернуть багор, но грунт крепко вцепился в крючковатый железный наконечник; ноги Казарина еще стояли на палубе, а тело повисло над водой.

— Не толкай корму! Обожди! — закричал он Кириллу, все еще не выпуская из рук багра.

— Бросай багор, начальник! — весело закричал Кирилл. — Бросай, говорю!.. Забава!

Но было уже поздно; лодка ушла из-под ног и грузное тело Казарина плашмя шлепнулось в воду, взметнув каскады брызг. Он быстро поднялся — вода не доходила ему даже до колен — и бегом, смешно выкидывая ноги, побежал к глиссеру. Не выдержав, мы с Кириллом откровенно рассмеялись. Пахомыч суетливо помог своему начальнику влезть в лодку.

Встав на дно лодки, Казарин взглянул на нас. Я как сейчас помню это страшное лицо под желтым светом луны. Жирные щеки дрожали, с волос, по лбу, по

глубоким морщинам вокруг рта бежали струи воды. Выкатившиеся глаза остановились на Кирилле. Стало очень тихо.

— Кому — забава? Тебе забава? — еле слышно проговорил Казарин, медленно расстегивая правой рукой кабуру револьвера.

Одним махом он выхватил браунинг и прицелился. Кирилл растерянно улыбался своей милой улыбкой и теребил пуговицу на гимнастерке.

Сухо треснул выстрел, покатился по воде, охнул в тайге...

Кирилл порывисто потряхнул головой и без стопа легко опрокинулся навзничь, зацепив рукой штурвал. Колесо метнулось вправо — влево, как бы отсчитывая последние секунды жизни, и застыло.

Казарин тяжело дышал, поглядывая на труп.

— Я говорил... я говорил ему... я ему говорил...

Старик Пахомыч украдкой перекрестился.

Глиссер тихо несло по течению.

«Чувствуешь ли ты, что ты есть заключенный»? — вспомнил я слова Казарина.

«Чувствую!..» — хотел крикнуть я, но бессильно опустил на скамейку перед трупом и сжал руками голову.

Луна тихо полоскалась в холодной воде, уносящей нас все дальше и дальше.

Звездное, звездное небо...

П Р О К А Ж Е Н Н Ы Й

Итак — я свободен. Пять страшных лет остались позади как кошмарный сон.

Получив свидетельство об освобождении из лагеря, я вскоре приехал в Москву, но через 24 часа милиция выпроводила меня из столицы. Я поехал в маленький городок К., расположенный в 200 км. от Москвы.

Хмурым весенним утром я сошел с поезда и отправился по нужному адресу. Моросил мелкий неторопливый дождь, пузырил вешние лужи, лениво барабанил по железным крышам. По грязным канавам шумели ручьи, увлекая за собой щепки, обрывки газет, окурки. Голые тополя покачивали тонкими, почерневшими ветвями. Кое-где еще лежал снег.

Шлепая ботинками по раскисшей земле, я подошел к серому двухэтажному дому на улице Достоевского и достал из кармана записку. Да, правильно, дом № 21. Вверху, над некрашенным деревянным наличником крайнего окна кривилась ржавая железка с еле видной цифрой 21.

Я толкнул старенькую калитку сбоку ворот и вошел во двор. Огромная свинцовая лужа занимала почти все пространство двора от дома до забора и ветхого, наклонившегося вперед, сарая. Между сараем и углом забора стоял чахлый кустик мокрой сирени, под ним — красивая чугунная скамья с замысловатой спинкой. Под навесом сарая жались к бревнам несколько озябших кур и общипанный рыжий петух.

Я обошел лужу, завернул за угол дома, взошел на шаткое деревянное крылечко и по грязной узкой лест-

нице поднялся на второй этаж. Нерешительно стукнул в темно-малиновую, с облупившейся краской, дверь. Проскрипела задвижка и хриловатый голос осведомился:

— Кто это, спозаранку?

Передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина в косоворотке, черных помятых штанах и в одном ярко-начищенном ботинке, другой — вместе со щеткой — он держал в руках. На большой голове его торчало несколько кустиков пепельных волос, одутловатые щеки обрамляла короткая седая щетина. Светло-серые добрые глаза внимательно рассматривали меня.

— Извините, пожалуйста. Мне нужен Николай Петрович Круглов.

— Я самый и буду. Войдите.

Я вошел в маленькую кухню с русской печью у стены и протянул Круглову записку.

— Вот... у меня к вам письмо.

Письмо это дал мне в Москве один знакомый; передавая, прочел его. Было оно, приблизительно, следующего содержания: «Дорогой Коля, податель сего — мой хороший знакомый, отсидел в лагере 5 лет «за политику», вернулся в Москву, но через 24 часа беднягу выгнала из Москвы милиция; им ведь, знаешь, запрещается жить в крупных городах. Я посоветовал ему поехать к тебе и прошу тебя приютить его на время. В провинции ему можно проживать. Деньжат у него немного есть, ну, а там — устроится работать — и все пойдет своим чередом, на твоей шее сидеть не будет — не такой он парень. Очень прошу — помоги ему устроиться с квартирой. Жму руку. Твой брат Дмитрий».

— Дело-то в том, — заговорил Круглов, прочтя записку и смущенно проводя рукой по лысине, — что плоховато вам будет у меня... Детей много... Хозяйки нет... Умерла жена-то в позапрошлом году... А приютить, конечно, могу.

— Господи, — обрадовался я, — да мне никаких удобств не надо. Какой же нужен комфорт каторжнику! Мне — полено под голову да угол на полу...

— Тогда пойдемте, — предложил хозяин, напяливая на ногу второй ботинок.

Мы прошли большую комнату с кроватями, на которых спали дети, с единым столом и единым шкафом, в смежную маленькую комнатку, вся обстановка которой состояла из одной еще не убранной железной кровати и двух стульев.

— Вот так живет инженер, — рассмеялся Николай Петрович, — Ну вот, молодой человек, ложитесь пока на мою постель, отдохайте, а вечером что-нибудь придумаем. Мне пора на работу. Извините.

Он ушел.

Меня охватило бурное чувство радости. Теперь заживем!

Я поставил чемодан, подошел к единственному окну и открыл форточку. Окно выходило во двор. Все также монотонно шумел дождь, но шум этот не нагонял больше тоски на мою душу, а, наоборот, веселил. Жизнь начинается сызнова! Старое, страшное — позади. Кошмар тюрем, лагерей, голод, оскорбления, издевательства — все позади.

Я был молод. Мне было всего 25 лет, и я знал, что у меня хватит сил пройти через все преграды и добиться того, чтобы снова быть принятым в человеческую семью. С этими крылатыми мыслями я прилег на кровать и с наслаждением вытянулся, но в ту же секунду в соседней комнате раздался плач ребенка, и я вскочил.

— Ой, это не я... не я это-а-а, не бей, пожалуйста... ой, больно-а-а... не бей меня, пожалуйста-а-а...

Я приоткрыл дверь и заглянул.

Девушка лет семнадцати, с тонким красивым лицом, усеянным крупными веснушками, в одной сорочке сомнительной чистоты, держала за руку голенького

пяти-шестилетнего мальчика и сильно шлепала ладонью по покрасневшему тельцу. Мальчик покорно стоял, слезы ручьями текли по круглым щечкам. Из-под одеяла на широкой постели выглядывала еще одна детская головка. У стола стоял подросток в синих трусиках и, нахмутив брови, молча смотрел на разбушевавшуюся сестрицу.

— Вот тебе, вот тебе! — прикрикивала девушка.

— Галька! Оставь его! — вдруг попросил подросток.

— Не вмешивайся не в свое дело... — огрызнулась она.

— Галька... оставь! Оставь говорю! — весь вспыхнув, крикнул он. — Ах, сука подлющая! Зараза!..

Он стремглав бросился на нее и вцепился тонкими руками в копну рыжих волос. Девушка взвизгнула, схватила за горло подростка, и они повалились на пол. Я открыл дверь и рознял дерущихся. Это мне не стоило никакого труда, так-как мое появление их ошеломило. Они сразу позабыли о ссоре, даже маленький мальчик перестал плакать и во все глаза смотрел на меня.

— Стыдно, ребята... Я ваш новый квартирант, а вы — такие концерты закатываете!

Вернувшись, я долго еще слышал осторожное перешептывание детей.

Вечером Николай Петрович притащил из сарая кровать для меня, а на другой день пригласил в гости управдома. Я дал денег, купили водки, угостили блюстителя порядка государственных домов, тот сразу же после угощения сходил в милицию и «прописал» меня жильцом дома № 21 по улице Достоевского.

Николай Петрович как-то сразу привязался ко мне. От него я узнал и о горькой судьбине инженера. Николай Петрович окончил еще до революции Лесотехнический институт, был 5 лет на фронте в первую мировую войну. После окончания войны — женился, пошли дети, а заработки небольшие. Кой-как перебивались они

с женой, но после ее смерти все сразу пошло прахом. Это случилось два года назад. Жена умерла, оставив ему пятерых детей; старшей дочери было 19 лет, самому маленькому мальчику — 4 года. Горе шагало за ним по пятам. Дети без матери распустились, сам он стал изрядно выпивать. Старшую дочь — Нину — удалось устроить в Московский педагогический институт. Девочка умная, способная, всеми силами старалась облегчить положение отца, но неожиданный правительственный закон о платном учении снова поставил в тупик ее и отца. У него не было денег платить за учение. Тогда Нина стала брать чертежные работы и ночами, после лекций, исполняла их, зарабатывая на учение. Так она протянула год. Силы падали. Николай Петрович получил от нее письмо с известием, что по окончании второго курса она бросит учение и поступит куда-нибудь на работу.

Вторая дочь, Галина, вскоре после смерти матери бросила школу, поступила телефонисткой на почту, но через год ее уволили за опоздание. Она поступила на фабрику, но и оттуда ее уволили, и теперь она болталась по дому, ничего не делая. Старший мальчик, Геннадий, учился в школе.

— Тяжело жить, — говорил Николай Петрович, покачивая головой, — так тяжело, что хоть в петлю лезь... Да детей жалко, люблю я их...

— Ничего, как-нибудь переживем, — подбодрял я его. — Вот начну искать работу...

— Вы специальность-то имеете?

— Арестовали меня со второго курса литературного института... Ну, в газетке где-нибудь... репортером могу.

— Дело хорошее. Сходите-ка в редакцию «Коммуниста». Есть у нас тут такая газетенка.

Дня через два я отправился в редакцию газеты «Коммунист». На душе было спокойно и даже радостно.

Все пока идет хорошо: квартиру нашел, милиция «прописала», теперь осталось только найти работу.

Яркое весеннее солнце заливало городок, накаливало тротуары. Его сияние прибавляло мне бодрости и надежд — все «образуется», не я первый — не я последний.

С такими мыслями я подошел к трехэтажному желтому зданию редакции «Коммуниста», храбро поднялся на второй этаж, нашел комнату с дощечкой «Ответственный редактор т. Горовец», и постучал в дверь.

— Да-а... — протянул из-за двери тенорок.

Я вошел.

За большим письменным столом, украшенным мраморным прибором и статуэткой, изображавшей слепого Ленина с протянутой рукой, сидел, развалившись в кресле, маленький щуплый человечек, со сверкающей плешью в узкой бахrome черных волос. Он читал свежий номер «Правды».

— Вам что, т-товарищ? — заикаясь, осведомился он, подымая глаза на меня.

— Извините за беспокойство. Я хотел узнать не найдется ли у вас какой-либо работы для меня.

— Ваша п-профессия?

— Репортер.

Товарищ Горовец широко улыбнулся, показывая золотые зубы.

— Репортер? — обрадованно переспросил он.

— Да.

— А с фотоаппаратами работать можете?

— Любой системы.

— Ах, ч-чорт возьми! Я только-что д-дал объявление, ч-что мы ищем фото-репортера. Это кстати. Очень кстати. Вы откуда?

— Из Москвы.

— Из Москвы? Очень хорошо. Сейчас вы з-заполните анкету и — д-дело в шляпе.

Он выдвинул ящик письменного стола и стал рыться в бумагах. Сердце мое учащенно забилось. Нет, определенно я родился под счастливой звездой. Но где-то шевельнулась беспокойная мысль: да, но ведь редактор еще не знает моей истории, быть может тогда...

Горовец достал помятую анкету и, расправляя ее, спросил:

— Где вы раньше работали?

Я понял, что наступил ответственный момент.

— Видите ли... — стараясь быть спокойным, заговорил я. — Я должен предупредить вас, что я только что освобожден из лагеря... я просидел пять лет...

По лицу редактора мгновенно пробежала тень, но в то же время улыбка опять растеклась медовым пятном.

— О, это н-ничего. Вы сидели, к-конечно по бытовой статье? Растрата или п-преступление по должности?

— Нет, я сидел как политический...

Горовец сразу обмяк, улыбка окончательно исчезла и глаза беспокойно забегали по столу. Несколько секунд стояло молчание.

— Н-да... это, к-конечно, сложнее. Видите ли, тут еще один репортер заходил, п-просился тоже... Я ему, с-собственно, и не отказал и не сказал «да». Я п-просил его зайти сегодня п-после обеда. И если он нам п-подойдет, то вы, к-конечно, понимаете, что д-двух репортеров нам не надо... Вы зайдите-ка еще раз в-вечерком. Хорошо? Да? До свидания! — и редактор «Коммуниста» снова уткнулся в газету.

Я стоял, растерянно перебирая в руках кепи.

— До свидания... — еще раз проговорил редактор. — Я п-потворюю: зайдите вечерком.

— До свидания...

Когда я шел по улице, то солнце уже не казалось таким сияющим, как двадцать минут назад, и воробьи

щобетали не так весело. Я понял, что ссылка Горовца на другого репортера лишь плохо замаскированный отказ. Быть может, не стоит снова и заходить? Отказ — ясно, как дважды два четыре.

Николая Петровича дома не было. Я сел у окна и задумался. Как всегда, в большой соседней комнате шумели и ссорились дети. Вошла Галина и бесцеремонно уселась на мою кровать.

— Ну, как ваши дела? — спросила она.

Я с первой встречи не влюбил эту самонадеянную, неразвитую и грубую девушку. Она же меня открыто ненавидела. И теперь появление ее было особенно мне неприятно.

— Ничего, — нехотя ответил я. — В одном месте отказали.

— В редакции?

— Да.

— Почему?

— Потому что я, Галя, на каторге был...

— У нас в стране каторги нет. У нас есть только «исправительно-трудовые лагеря».

— Это один чорт! — раздраженно сказал я.

— Нет, не один чорт! — настойчиво возразила она. — На каторге наказывают преступников, а у нас — перевоспитывают...

Я не стал спорить и замолчал. Она долго и презрительно разглядывала меня и вдруг сказала:

— Я комсомолка и не люблю, когда о моей стране говорят плохо.

— Я не говорю, что — плохо, — на всякий случай отвел я обвинение.

За дверью оглушительно взвизгнул маленький Коля. Галина поспешно вышла.

— Долго вы, сволочи, меренхлюндию тут разводить будете? Слышите! Сейчас же замолкните. Распустил вас батька! Шляется, старый чорт, где-то по бабам, а за детьми не смотрит. Эх, мать была бы, она бы и

вам и шелопаю старому всыпала бы по первое число! Утри сопли, Колька!..

В два часа дня я все-таки снова пошел в редакцию. Горовец сухо сказал, что работы у них нет.

Выйдя из редакции, я направился в дешевую столовую, ругая себя за вторичный визит.

После плохонького рабочего обеда, от которого в желудке была несусветная тяжесть, а есть все-таки еще хотелось, я, сделав подсчеты ежедневных расходов, пришел к заключению, что если вскоре не найду работы, то через полмесяца жить будет не на что.

Николай Петрович пришел поздно и слегка навеселе. Узнав о моей неудаче, он подпер голову и задумался.

— Это плохо, — тихо заметил он. — Значит, на вашего брата смотрят весьма косо. Попробуйте счастья еще где-нибудь.

Целую неделю ходил в поисках работы, встречали на первых порах неплохо, но как только узнавали всю подноготную, то немедленно следовал отказ. Измученный напрасными поисками, решил играть ва-банк и пошел на обман. Случайно узнав, что художник кино-театра «Ураган» повесился по неизвестным причинам, я направился к директору кино.

Невысокий, подстриженный под бобрик, суетливый директор кино встретил меня обрадованно.

— Так вы, того, художник?.. Очинно кстати. Мой старый, понимаешь, удавился... Подвел, дьявол! Тут надо, понимаешь, рекламу к новому фильму «Антон Иванович сердится», делать, а он, понимаешь, давиться как-раз в это время... Ты, это самое, когда можешь к работе приступить?

— Хоть сегодня.

— Тогда, это... — директор запустил широкую пятерню с грязными ногтями в щетину бобрика. — Ты, это самое, приступай к работе, а оформимся мы

завтра. Ставка — 300 рублей в месяц. Ах, дьявол, вот не во-время душиться задумал... На-ка тебе фотографию... или — погоди, не эту... вот здесь баба покрасивше. Нарисуй эту... чтоб как симпомпончик была! Иди вниз, скажи старику-швейцару, чтоб провел тебя в подвал, где наш покойник работал. Там, наверно, краски и кисти остались после него, если перед смертью не загнал он их на толкучке... Вор, понимаешь, был отчаянный... Даже клей один раз продал, тухлый, вонючий клей, а продал, дьявол, — ловкий был человек; ничего, понимаешь, не поделаешь, — талант такой у человека.

Директор говорил быстро, захлебываясь, и все время нервно что-то перебирал на столе.

Я спустился в подвал, разыскал среди ультрахудожественного беспорядка все художественные принадлежности покойного мастера рекламы, развел краски и рьяно приступил к малеванию, но на душе было холодно и пусто, моя судьба все еще висела в воздухе. Директор был явный и типичный партиец, и «врага народа» он не захочет держать у себя. Остается одно: скрыть от него настоящее положение. Но как скрыть? Ведь по паспорту видно, что я сидел «за политику». Кроме того, у меня спросят военный билет, а билет мне заменяла справка из райвоенкомата, гласившая, что такой-то, «рождения 1917 г., призыву в Красную Армию не подлежит, как бывший осужденный по 58 статье, пункт 10, на 5 лет заключения, с отбыванием в «исправительно-трудовых лагерях НКВД» и на 2 года поражения в правах после отбытия срока наказания». В райвоенкомат я должен буду явиться снова лишь через 2 года. Следовательно, как ни крутись, а личность моя при желании устанавливается очень быстро.

К вечеру реклама была готова. На огромном фанерном щите красовалась голова испуганной девушки. Краски всех цветов покрывали ее лицо. В глазах све-

тился настоящий ужас. Я сам удивился своему умению. Директору же реклама очень понравилась.

Он оказался доверчивым парнем. Анкету нового служащего заполнял с моих слов и только в самом конце попросил паспорт для того, чтобы посмотреть номер. Я врал безбожно, перечисляя «места последних работ», и с бьющимся сердцем полез за паспортом. Ведь если попадусь на неправильных сведениях, то — снова тюрьма.

Но директор страшно торопился, он мельком взглянул на номер паспорта и вернул его мне, на-ходу бросив:

— Чегой-то у тебя одногодичный паспорт?

— Да с метриками была путаница, вот и дали на год... — невинно ответил я и сам удивился спокойной интонации своего голоса.

Николай Петрович радостно встретил известие о том, что я принят на работу, но когда узнал как это случилось (я, чувствуя к нему большое расположение и будучи уверен, что Круглов никогда меня не выдаст, ничего не скрывал от него), то несколько помрачнел:

— Узнают — посадят.

Потом зашла ко мне Галина.

— Ну, поздравляю вас...

— Спасибо, Галя... — искренне поблагодарил я.

— Только знаете что: вы нечестным путем устроились в кино, вы обманули директора.

Я ошалело посмотрел на нее. Неужели Николай Петрович поделился с нею моей тайной! Не может быть! (Позднее выяснилось, что она просто подслушала наш разговор).

— Да, да... — продолжала она, беззастенчиво любясь моим испугом. — Это подлость. И, собственно, как комсомолка, я должна была бы предупредить директора кино кого он принимает на работу. Вы не обижайтесь, но честный комсомолец должен сделать это... Впрочем, я пожалею вас...

— Идите! — закричал я, взбешенный, чувствуя, что неуместно теряю самообладание. — Идите и заявите, что хотите и куда хотите. Только избавьте меня от вашего присутствия!

— Ну, что ж, в таком случае — пойду. Это долг комсомолки.

Я рванулся, распахнул дверь и крикнул:

— Вон!

Галина, трусливо, боком вышла из комнаты и, прислонясь к буфету, истерически, как она кричала на детей, завопила:

— Сволочь! Дармоед!..

В этот момент вошел Николай Петрович и в удивлении остановился на пороге.

— Папа! — бросилась к нему Галина. — Змею ты пригрел в доме! Врага народа! Я ему сказала, что нельзя директора обманывать, а он меня выгнал, да еще по матерному обругал...

Закончить тираду ей не удалось: Николай Петрович, лицо которого наливалось кровью, по мере того, как Галина кричала, с размаха ударил дочь по лицу.

— Ты... Галина... — задыхаясь, еле выговорил он. — Ты... моя дочь... говоришь такую мерзость. Я ударил тебя первый раз в жизни... Но помни, если я еще раз услышу подобное, я тебя убью... сам убью! Слышишь! В нашей семье... подлецов... предателей никогда не было... искалечила вас советская власть...

Я схватил его за плечи и отвел в сторону.

Галина вдруг кошкой скользнула на кухню, выбежала на двор и закричала там на всю улицу:

— И про тебя расскажу! Ты за одно с ним! Оба вы враги народа... И мать ты уморил!..

Николай Петрович схватил с подоконника горшок с чахлыми цветами и запустил в пританцовывающую у сарая дочь. Горшок ударился о бревно и разбился вдребезги. Из окон высовывались обыватели, радуясь бесплатному развлечению.

— Вот, все видели? — торжествовала Галина. — Убить меня хотел горшком... Запомните, дорогие товарищи... На суде свидетелями будете...

Николай Петрович опустил на стул, закрыл лицо руками и заплакал.

Галина долго еще вопила на дворе, а потом куда-то исчезла.

В большой комнате плакали перепуганные дети.

На другой день директор кино очень сухо встретил меня и без дальних рассуждений набросился:

— Ты что ж это, понимаешь, делаешь? А? Ты что — опять в тюрьму захотел? Так я это, понимаешь, устрою... Ты кого провести думал? Меня? Старого партийца? Красного партизана? Да я в 17 году весь фронт прошел... Я... а, ну, короче говоря, уматывай, понимаешь, поскорее, чтобы я не видел твоей политическо-преступной рожи... Иди, пока я в НКВД не заявил, что враг народа пытался проникнуть на работу в государственное кино...

Все стало ясным: Галина была у директора. А, может быть, она и еще где-нибудь была?..

Я вышел из кино и, завернув в пивную, спросил кружку пива. Что же теперь — опять ждать ареста? Когда же эта пытка кончится? Неужели этот Дамоклов меч вечно будет висеть над моей головой? Куди идти? Что делать? Деньги кончаются, жить больше не на что. А может и жить не стоит? Может быть, разом оборвать эти мучения и последовать вслед за художником из «Урагана»? Но, ведь, жить-то хочется! Ведь мне 25 лет, и жизнь только начинается... Нет, я должен, я буду жить!

Бросив рубль на мокрую стойку, я вышел из пивной и зашагал к центру города.

Я ходил из учреждения в учреждение, из дома в дом, предлагал свои услуги и всюду, как только дело доходило до анкеты, — отказ, отказ. Мне казалось, что я очень похожу на надоедливых московских про-

ституток на Петровке, предлагающих себя, с той только разницей, что на зов проституток откликнулись ответственные совработники, а на мой — никто. Но, ведь, чорт возьми, у тех — сифилис и то... А какой-то голос резонно замечал мне: «А у тебя проказа!».

...Ночью мучительно думал: так где ж кончается каторга и где начинается «жизнь на свободе»? Где же «воля»?

Галина не появлялась несколько дней. Отец пропал на работе, заброшенные дети варили картошку и стояли в очередях за хлебом.

На шестой день Галина вернулась, тихая, поху-девшая, с помятым лицом. Пришла она днем и сразу же принялась за уборку. Я лежал на кровати, курил и думал все об одном и том же. Положение становилось критическим: деньги вышли и, кроме того, я был должен Николаю Петровичу пятьдесят рублей за квартиру.

За стеной пьяный сапожник Кузьмич бил жену.

— Я тебе, потаскухе, сколько раз говорил!.. — кричал он сухим скрипучим голосом, — чтобы ты по ночам не шлялась, чортова дочь... Я целый день стучу молотком, а ты, пакость, последние гроши на наряды тянешь... Когда вчера домой пришла? А?

— Ты на себя-то посмотри? — сквозь слезы визгливо кричала жена. — Сам все пропил, а на меня сваливаешь, дьявол рыжий!

— Молчи, пакость! — скрипел Кузьмич. — Э-эх, расшибу-у! — следовал удар.

Началась драка. Я продолжал лежать. Теперь меня ничто не волновало, было все равно, что бы ни творилось вокруг.

Со стены смотрел на меня Сталин, улыбаясь своей загадочной улыбкой и чуть прищутив умные глаза. Этот портрет повесила два года назад Галина. Нос, лоб и щеки Сталина густо засидели мухи и получились не то веснушки, не то рябины. «А ведь, он действительно,

рябой, — лениво вспомнил я, — художник забыл их нарисовать, так мухи дорисовали за него. Вот он — тот, из-за кого сотни тысяч невинных людей умирали на севере от голода, цынги, тифа и пуль... Вот он...».

Я зло отбросил цыгарку, ненависть все больше и больше накалила. Вскочив, я подошел к портрету, сорвал со стены и в клочья разорвал его.

Потом, успокоившись, я собрал клочки и бросил их в печь, открыл вьюшку дымохода и поджег останки «властелина одной шестой». Бумажки вспыхнули и превратились в пепел.

Николай Петрович, вернувшись с работы и увидев Галину, промолчал, но глаза его сверкнули радостью.

— Знаете, я не виню ее, — говорил он, укрываясь одеялом, — виновата система воспитания, школа. Ни я, ни мать, к сожалению, не имели времени заняться ее воспитанием. Кроме того, в школе она попала в дурное окружение... Для меня же она все-таки дочь. Урод, выродок, но дочь.

Я вскоре продал пальто и часы. Я решил так: уже май, подходит лето, можно обойтись и без пальто, а осенью — там видно будет. Часы же были старые и стоили гроши. Вырученные от продажи деньги быстро растаяли. Работы не было. Даже в грузчики не взяли на пристань. Начальник пристани побоялся.

Вначале я иногда обращался за помощью к брату, жившему в Москве. Как ни тяжело жилось ему, он с радостью посылал мне деньги. Дело в том, что отец наш умер, когда я еще был в лагере и вся тяжесть большой семьи — 5 человек — легла на плечи брата, который учился и жил на стипендию. И я перестал писать ему о моем бедственном положении, скрывая, что меня выгнали из кинотеатра.

Со злобным ожесточением продолжал я поиски работы. Однажды, это было в начале июня, я шел по одной из центральных улиц. День был жаркий, проезжавшие грузовики подымали пыль, она слепила глаза и

набивалась в волосы... Как-то так случилось, что я уже второй день ничего не ел и чувствовал легкую слабость, хотя голода не чувствовал — я очень много голодал в своей жизни, и два дня при моей тренировке, еще ничего не значили. От Николая Петровича я скрывал мое отчаянное положение, зная, что он ничем не может помочь мне: его дела тоже сильно пошатнулись, и все чаще и чаще я слышал плач голодных детей. Николай Петрович разводил руками, вывертывал карманы и со слезами говорил:

— Ну, поймите же, что нет у меня ни гроша. Посидим до получки на хлебе.

...Солнце накалило тротуар так, что он, как вар, мялся под ногами.

На одном из каменных домов я увидел объявление, написанное ровным каллиграфическим почерком. Объявление гласило, что... «Краеведческому музею требуется квалифицированный ночной сторож. Аплата по соглашению».

Вот здесь я, пожалуй, могу быть принят. Ведь нужен то всего-навсего сторож!

Войдя в здание Краеведческого музея, я спросил у первого попавшегося человека — поджарой старушки: где можно увидеть директора?

— А вона в конце коридора дверь... — показала пальцем старушка.

Я нашел кабинет директора и постучался.

— Войдите!

В обширном кабинете сидело четыре человека. Один, очевидно, сам директор, был еле виден из-за стола — так он был мал. На его птичьем, тусклом и потном лице уныло смотрел неопределенного цвета глаз: второй закрывался тяжелым, видимо, больным, коричневым веком. Ворот гимнастерки наглухо застегнут, но несмотря на это, тонкая шея торчала из него, как из свободного хомута. Справа и слева от маленького человечка сидели еще двое: стройный молодцеватый

милиционер, подстриженный под ультра-короткий «бокс» и здоровенный малый в огромных роговых очках. Возле дверей, за маленьким столиком с пишущей машинкой, сидела молоденькая, завитая в кудряшки, девушка. Она подперла подбородок руками и слушала беседу мужчин.

— В чем дело? — спросил басом, никак невязавшимся с его карликовой фигурой, маленький человек.

Я растерялся, я не ожидал увидеть милиционера. При виде милиционера или человека из НКВД мне всегда делалось как-то не по себе. При чем тут милиционер?

— В чем дело же? — повторил вопрос карлик.

Я посмотрел в его единственный глаз и проямлил:

— Мне хотелось бы увидеть...

— Что такое? — раздраженно проговорил карлик. — Говорите громче. Я плохо слышу.

— Директора музея...

— Ну, я!

— Я по объявлению. Вам требуется ночной сторож... Так вот я хочу поступить...

Все трое переглянулись, девица откровенно фыркнула.

— Вы? Хотите в сторожа-а? — протянул удивленно директор.

— А почему — нет? — в свою очередь спросил я.

— Да-а... Но... вы же молодой человек... Можете на фабрике устроиться или еще где-нибудь. Почему — в сторожа? Это дело стариковское... Непонятно что-то...

— А где работал до сих пор? — спросил милиционер, чуя, видимо, профессиональным чутьем, что дело неладное. Он даже одернул гимнастерку и поправил привычным жестом ремень с наганом, как бы приготавливаясь к сражению.

Я уже знал, как будет развиваться все дальше. Я скажу правду, и меня тут же выпроводят.

— Где я работал до сих пор? — переспросил я.
— Могу ответить: я год сидел в тюрьме и четыре

года работал в «Исправительно-трудовом лагере» как политический заключенный...

Девушка сразу съежилась и отодвинулась вместе со стулом в сторону.

Я обозлился.

— Что вы шарахнулись? Я не прокаженный.

Девушка покраснела и опустила голову.

— А-а-а... — многозначительно кивнув головой, протянул милиционер, — сидел, значит, как враг народа?

— Вот, вот, — охотно согласился я.

Как-то само собой инициатива разговора перешла к милиционеру.

— А давно освободился из лагеря? — снова спросил он.

— Да уж несколько месяцев...

— Работал где?

— Еще нигде. Никуда не принимают.

— Как это — не работал? — возмутился милиционер, — разве без работы можно жить? У нас все работают. Если хочешь знать, мы имеем право привлечь тебя к ответственности по статье 35-ой, как человека без определенных занятий... Это мы можем. Насчет того, что ты работы найти не можешь, — это ты врешь. У нас в стране работы сколько хочешь...

— Так вот возьмите меня сторожем в музей...

Милиционер крикнул и показал на директора.

— Это — как он. Я тут не хозяин. Он — хозяин.

— Нет, — вздохнул карлик. — Нам требуется квалифицированный ночной сторож...

— Я обучусь скоро сторожить, — пообещал я.

— Нам бы старичка, — продолжал карлик. — Енти хорошие сторожа. Вы молодой... Вам несподручно. Вы уж на завод или на фабрику поступайте. И, вообще, у нас тут всякие экспонаты, ценности... на тыщи рублей... Нет, пожалуй, вы не подойдете... — решительно отрезал он.

— А может — подойду? — настаивал я.

— Нет, нет, гражданин, не подойдете.

— Это он правду говорит, — вмешался милиционер. — Здесь тебе не место. Молодой, и вдруг — сторож. Да и сам должен понимать: ты из тюрьмы, преступник, доверия тебе нет...

— Да ведь я не за кражу, и не за убийство, и не за грабеж сидел! — почти крикнул я.

Милиционер рассмеялся.

— Чудной ты человек али больно хитрый. Преступник останется преступником. И вот что, голубчик, я тебе скажу: покажь-ка документы, — милиционер даже встал, осененный этой мыслью. В самом деле, как это он раньше не догадался справиться у такого подозрительного субъекта о такой важной вещи? Да с этого и начинать нужно было!

Я сунул руку в карман, достал документы и подал милиционеру. Тот разложил их на столе.

— Так-с... паспорт... Справка об освобождении из места заключения... Справка из Военного Комиссариата... А с места работы, значит, нет?

— Откуда же она будет, если я не работаю?

— А на какие средства живешь? — не унимался милиционер.

— Ни на какие.

— Как — ни на какие?

— Очень просто — голодаю. Два дня не ел.

Наступило неловкое молчание. Даже грозный милиционер задумался и потупил глаза. Девушка участливо посмотрела на мой живот. Оправившись, милиционер снова пошел в атаку.

— Хорошо, это два дня. А раньше-то ты ел что-нибудь?

— Камни глотал, — огрызнулся я.

— Это ты врешь. На камнях человек далеко не уедет... Это ты врешь. Может — воровал? Скажи, по совести.

Я молчал.

— Вот что, голубчик, — вразумительным тоном сказал милиционер, — скажи спасибо, что на таких хороших людей нарвался. Забирай свои документы и уматывай поскорей отсюда, пока я тебя в отделение не отправил... Бери...

Я взял документы, машинально сунул их в карман и, не говоря ни слова, вышел.

— Может, повеситься? — вслух спрашивал я себя, медленно идя по раскаленному тротуару. — Или действительно начать воровать? Хорошая мысль...

Дóма, на лестнице, я столкнулся лицом к лицу с Галиной.

— Идет шелопай — прошептала она. — Все равно время придет — донесу, что у нас враг народа живет. Я за вас не хочу получать выговора от комсомольской ячейки, что врага просмотрела.

Я прошел мимо.

Все чаще и чаще мне приходила мысль о самоубийстве. Для чего влачить такое существование? Для чего жить?

Отчаявшись, написал брату, и он мне немедленно выслал денег — где-то занял.

И опять потянулись серые, полные тоски и безнадежности дни.

Сапожник Кузьмич, однажды, под пьяную руку, убил жену железной сапожной лапой. Его посадили в тюрьму, а жену похоронили «за счет государства». Комната оказалась пустой. Через день туда въехал какой-то заведующий продуктовым магазином с женой и мальчиком лет десяти. Они навезли уйму вещей, заставили комодами и буфетами коридор, провели радио. Репродуктор вопил с утра до ночи.

...широка-а страна-а моя родна-а-я...

Я, духовно опустошенный, безвольный, лежал животом на подоконнике и смотрел во двор. И тут вдруг

я вспомнил одного товарища, покончившего с собой на дворе Бутырской тюрьмы старым тюремным способом: во время прогулки он разбежался и со всей силой ударился наклоненной головой в каменную стену. «Да — подумал я, — а на нашем дворе даже и каменной стены нет. Пожалуй, забор проломишь скорее, чем голову... Впрочем, этот же способ можно варьировать — сползти на животе с подоконника, полететь вниз и удариться головой о грудку кирпичей под окном. И — сразу всему конец»...

Я зачарованно смотрел на эти кирпичи. Рисовались какие то мелкие жизненные эпизоды, вспомнились картины детства. Волга, шлепающий по ней буксирный пароход, вот отец идет с удочками на берег, вот мать, брат, сестра...

Я не помню сколько времени смотрел на кирпичи, только вдруг руки мои медленно взялись за подоконник, и я пополз вниз головой...

Мысль заработала с удивительной ясностью. Я увидел играющих детей на дворе и с интересом следящих за мною.

— Дяденька, упадешь! — крикнул маленький мальчик.

Руки не решались разжаться и выпустить подоконника.

— Эй, не по харчам физкультуру затеял! — вдруг раздался голос позади.

Я рывком впрыгнул в комнату и обернулся. В дверях стоял Николай Петрович, слегка пошатываясь и добродушно улыбаясь; левый карман его брюк подозрительно оттопыривался. Я, как во сне, сделал два шага и устало сел на кровать.

— Чего ты? — весело спросил Николай Петрович. — Брось кручиниться! Ты лучше... того... выпей вот со мной чарочку...

Он придвинул стул к окну, вытащил из кармана бутылку водки, поставил ее на подоконник и нетвердой

походкой прошел в большую комнату. Через полминуты вернулся, держа в руках два граненых стакана и тарелку с корками хлеба и малосольным огурцом.

— Горевать, брат, нечего, — утешал Николай Петрович, разливая водку по стаканам, — ты смотри на меня... Я все потерял: жену, имущество, положение и, даже... облик интеллигентного человека... Дети растут уродами... А все почему? Как ты думаешь?..

Я молчал, все еще никак не придя в себя.

— На, пей! — властно сказал Николай Петрович, подавая мне полный стакан водки. — Я сегодня с утра пью и... хорошо становится на душе, легко, точно на время и забудешь горе... Пей, говорю!

Я взял стакан и смаху выпил до дна.

Выпил и Николай Петрович, смачно, с побрякиваниями праведного пьяницы.

— Э-эх, хорошо!

За окном громко заплакала девочка. Пробиваясь сквозь листву пыльных тополей, солнце жаркими лучами врывается в комнату, играя круглыми зайчиками на рваных обоях.

— Попробуй, сходи к секретарю горкома партии, — предложил Николай Петрович, — растолкуй ему все подробно... не с голоду же тебе дохнуть, в конце концов.

«В самом деле — подумал я — а почему бы к «самому» не сходить?». И решил пойти на другой же день.

В приемной секретаря горкома партии сидело человек двадцать. Я занял очередь и терпеливо стал дожидаться. Я видел, как из кабинета властелина выходили плачущие женщины, насупившиеся рабочие, довольные, самоуверенные «ответственные работники». Я знал, что если я скажу секретарю «хозяина» — юркой, хорошенькой девочке, опрашивающей просителей о их «деле» — если я скажу ей правду, то она просто может

не допустить меня в кабинет, — поэтому, когда очередь дошла до меня я храбро сказал:

— По вопросу пожара на спичечной фабрике...

Девушка с кипой бумаг в руках скрылась за дверью с дощечкой «Секретарь Горкома партии т. Огородников» и вскоре вернулась.

— Войдите! — вежливо предложила она.

Я вошел.

Большая светлая комната с венецианскими окнами. Пол застлан огромным, мягким ковром. Два застекленных шкафа с книгами, золотым тиснением сверкают имена авторов: «Ленин», «Маркс», «Энгельс», «Сталин»... Мягкий диван, мягкие кресла. По углам мраморные колонки, с бюстами тех же, чьи имена на корешках книг, и они же смотрят со стен из дорогих рам. За массивным дубовым столом восседал плотный человек в серо-зеленой «сталинской» тужурке, крепкий, красивый.

Он встал, протянул мне руку.

— Здравствуйте, товарищ... Что — со спичечной фабрики? Рабочий? Садитесь.

Все это он проговорил быстро, деловито, как человек, ценящий каждую секунду. Я сел и вздохнул:

— Простите, товарищ Огородников, я ввел вас в заблуждение. Я, к сожалению, не рабочий и к спичечной фабрике никакого отношения не имею.

Огородников положил руки со скрещенными пальцами на стол и, слегка нахмутив брови, впрочем, довольно весело спросил:

— Почему же солгали?

— Да ведь боялся, что вы не примете меня. Уж очень положение-то у меня трудное.

Он неопределенно крякнул и отрывисто спросил:

— Кто же вы и по какому, так сказать, делу?..

— Я — бывший заключенный, освободившийся из «Исправительно-трудового лагеря» несколько месяцев тому назад.

— Гм... ну и что же?

— Скажите, пожалуйста, товарищ Огородников, наша конституция предусматривает право на труд?

— Странный вопрос. Конечно, предусматривает. Короче: что вы хотите?

— Только одного: раз конституцией предусмотрено, что каждый человек имеет право на труд — я хочу получить работу.

— Как? Вы без работы?

— Да.

— Почему?

— Никуда не принимают.

— По какой статье вы сидели?

— По пятьдесят восьмой.

— Срок?

— Пять лет и — два лишения права голоса.

Огородников поднял пресс-папье и покрутил его в руках.

— Гм... значит, вы — лишенец. Это, конечно, сложнее. Ваша профессия?

— Репортер, художник, геолог-лаборант... У меня их много...

— Да, но все это, вы понимаете.. все-таки пятно лежит на вас... и нам трудно доверять вам...

— Так что же делать?

— Ну, например, я могу направить вас в качестве чернорабочего-землекопа на торфоразработки. Там работают и заключенные и вольнонаемные. Почти все лишенцы там работают.

«Опять — на каторгу!» — мелькнуло у меня. Я уже кое-что слышал об этих торфоразработках — для вольнонаемных рабочих-лишенцев почти те же условия труда, что и для заключенных.

— Зачем же мне добровольно идти в лагерь, посудите сами! — запротестовал я, — я уже отбыл свои пять лет... И потом — я мог бы больше принести пользы, если бы...

Огородников раздраженно перебил меня:

— Где вы больше принесёте пользы — позвольте уж это нам, партийцам, знать. Повторяю: хотите на торфоразработки?

— Подумаю... — уклончиво ответил я, подымаясь.
— А больше вы мне ничего не предложите?

— Нет.

— Ничего?

— Нет.

О, как я его ненавидел в эту минуту! Я встал и, еле сдерживаясь, чтобы не ударить его, кратко бросил:

— Спасибо. До свидания.

— Всего хорошего...

Я вышел. Палило солнце. Гроыхали телеги, грузовики. Пыль стояла столбом. Было нестерпимо душно.

Я ушел далеко за город и повалился в тень, в траву, на берегу сверкающей под солнцем реки. Здесь было тихо, прохладно, щебетали птицы, дурманяще пахли русские цветы. И здесь, в тиши, под голубым небом моей милой, несчастной родины у меня родились иные мысли, мысли приведшие меня через несколько лет в эмиграцию, мысли, придавшие мне сил...

Борьба!

Только ради этого стоит жить!..

1945 — 1952 г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Прохожая	7
Пианист	21
Воспитатель	31
На этапе	41
Одна ночь	47
Одиссея арестанта	53
Весной	75
Побег	81
Стошестидесятый пикет	101
В снежной могиле	123
В театре	143
Княжна	159
Счастье	167
Забава	175
Прокаженный	183

Цена \$1.75

